

В. Шишков



В. Шишков

РАССКАЗЫ

В. Шишков



РАССКАЗЫ

«СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ»
издается по решению коллегии Госкомиздата РСФСР
для тружеников села Нечерноземья



Общественная редколлегия

В. В. ДЕМЕНТЬЕВ,
председатель
И. И. АКУЛОВ
В. И. БЕЛОВ
И. А. ВАСИЛЬЕВ
С. В. ВИКУЛОВ

С. А. ВОРОНИН
Ю. Т. ГРИБОВ
Г. М. ГУСЕВ
В. В. ШКАЕВ
С. И. ШУРТАКОВ





В. Шишков



РАССКАЗЫ

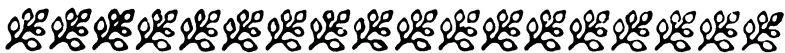


ПЕТРОЗАВОДСК
«Карелия»
1988

P2
Ш 55

Ш $\frac{4702010200-085}{M127(03)-88}$ без объявл.

ISBN 5—7545—0050—5



ХОЛОДНЫЙ КРАЙ

(Из дневника скитаний 1911 года)

Посвящаю Сенкиче, Гирманче — проводникам и многим, многим тунгусам, встречавшимся на пути моих скитаний. Светлую память о них я всегда ношу в своем сердце.

I. Лебеди

Раннее утро. До восхода солнца еще добрый час. В дощатой каюте шитика¹ — сажень в длину, сажень в ширину — нас четверо, спим, как в берлоге, тесно.

Закуриваю трубку. Темно, но сквозь щели в потолке и стенах прокрадывается рассвет. Холодно. Неохота подыматься из согретого телом гнезда. Тихо. Лишь похрапывают товарищи да на палубе кто-то из рабочих ворочается и стонет.

Лежу с открытыми глазами, думаю. Думы мои мрачны. Слышу:

- Степан, вставать пора.
- Рано.
- Я заколел. Надо костер разжечь.
- Спи.

Молчание.

Мы одни среди этого безлюдья и надвигающегося приполярного холода.

От последнего жилого места мы отплыли почти на тысячу верст. Нервы наши напряжены, душа истомлена. А плыть вперед, до Енисея, где есть люди и откуда мы можем выбраться на божий свет, по крайней мере месяц. Но мы б добрались. Мы привыкли к опасностям, закалены в борьбе. И вдруг этот ранний, в первых числах сентября, мороз и снег... Если обмерзнем здесь, никто не узнает о том — кругом ни души, — никто не придет к нам на помощь. Ну что ж! Судьба...

Опять говорят вверху, на крыше лодки:

- Степан.
- Ну?

¹ Шитик — крытая большая лодка.

— А ведь подохнем мы. Не доплыть.

— Доплы-ы-ве-оом...

— Где доплыть... Замерзнем посередке. До Туруханска полторы тыщи верст осталось, сказывают. А сухарей мало. Пропадем с голоду...

Тяжелый позевок и вздох:

— Доплы-ы-ве-ом...

И уже нет в голосе уверенности: дрогнуло что-то, сорвалось.

Молчу. В душе растет тревога, вопрос за вопросом мелькает в голове, один черней другого. Бессильно вздыхаю, жду ответа. Ответа нет.

Прислушиваюсь: чей-то говор, нежный и радостный, едва звучит надо мною. Все четче, четче: теперь ясно слышу — это в выси проносятся на юг, нам навстречу, гуси.

Выхожу на воздух, бодро вздрагиваю, умываюсь ледяной водой.

Тайга спит. Река дремотно катит свои воды, шурша стеклом новорожденных льдин. Наш шитик стоит возле огромных песков. Все пески покрыты ранним снегом. Нетоптанная пороша голубеет в утренней полумгле.

Стеклянная застывшая тишина, неподвижность. Иду вдоль косы. На пороше замечаю следы. Всматриваюсь: сохатый шел, лось, с сохатенком, а рядком — олени следы. Значит, близко стойбище тунгусов. Это хорошо, это очень хорошо. Живые люди! Я бесконечно рад.

Иду дальше. Восток все светлеет. Вижу четкие отпечатки лебединых следов: птицы шли табуном от реки к зеленеющему берегу, где спелый горошек.

Останавливаюсь. А, вот и они. Вскидываю вверх голову, ищу в выси белый, розовеющий под зарею бисер: раз, два, три, четыре — много. И смотрю им вслед тоскующими глазами, смотрю на юг, в ту сторону, где ждут меня друзья, такие далекие по расстоянию, но родные сердцу. Придется ли свидеться?

И я кричу, сняв шляпу:

— Эй, лебеди! Несите мой низкий поклон! Я не погиб еще. Я приду.

Но кто-то зло смеется во мне:

«Придешь? Ха-ха». И сердце вдруг обливается черной кровью.

Скрылись.

— Лебеди! Вольная стая. Счастливый вам путь!

Слышу — чьи-то шаги. Оглядываюсь — тунгус. Стоит возле меня, глядит жалеющими глазами, удивленно говорит:

— Как попал? Пошто? Откуда?

Стараюсь приветливо улыбнуться, спрашиваю:

— Ну как, бойе, до Туруханска доберемся мы, не замерзнем?

— Какой Турухан. Сдурел ты. Поздна... Борони бог! Зима... худой твое дело. Сдохнешь!

Сердце вдруг покрывается льдом, обмирает. Вот встало солнце, а я его не вижу: темно кругом и тоскливо.

Я через силу улыбаюсь, еле сдерживая боль, хлопаю тунгуса по плечу и дрожащим голосом говорю:

— Пойдем, бойе, чай пить.

— Пойдем. Чай так чай... Можно...

Он весь в мехах: чикульманы, парка, рукавицы. По лбу красная повязка, из-под нее торчат, словно у индейца, черные космы жестких волос. За плечами тугой лук, в руках острая рогатина — пальма́, за поясом болтается десяток убитых белок.

Добродушными, доверчивыми глазами он смотрит на меня и говорит:

— Оставайся, бойе. Зверя промышлять будем, тайга гулять будем. Э!

Я молчу. Мне не до гулянья.

На шитике проснулись. От костра струится голубой дымок и розовеет снег на вершинах гор.

II. Белка

Вот третью неделю живем в глухой тайге, в избушке зверолова, поджидаем тунгусов: они поведут нас на юг, к Ангаре. Путь будет труден, мы это знаем: по тайге, без дорог, без теплого угла, через снега, буран, морозы. Мы также знаем, что еще долго будут нас ждать в родном краю, и когда пройдут все сроки, нас станут оплакивать горько. Но что же делать? Надо мириться, иного выхода нет.

После встречи с тунгусом, когда наш скудный флот — два шитика и три лодки обледенели, мы решили, пробивая шестью тонкий лед, плыть дальше, наугад, в надежде повстречать жильье. Мы плыли день и ночь. На быстрых местах шитики неслись сломя голову, то и дело ударяясь о невидимые в ночной тьме камни. Мы прекрасно знаем, что от иного внезапного удара шитик может перевернуться. Если спасемся сами, погибнет остаток сухарей. Так и так — смерть. Однако раздумывать некогда, плывем. И вот подул ураганный встречный ветер. Наши лодки почти остановились.

Мы бросили весла, шли на шестах. Но шесты один за другим ломались, за целый день мы едва проходили версту. А нам нужно лететь стрелой, чтоб не погибнуть. Ветер дул целую неделю. Мы коченели от холода, лица опухли, руки разбиты в кровь. Мы теряем последнее мужество. И одно на душе: «скорей бы конец».

Вдруг, совершенно неожиданно, как молния в ясный день — избушка зверолова. В ней люди. Итак, мы третью неделю живем в этой родной, дороже каменных палат избушке.

— В лесу сегодня тепло, — сказал товарищ.

Выглядываю в окно. Белеет земля, белеет крыша балагана, и на фоне сизого неба желтыми призраками вытянулись вверх задумчивые в своей дреме лиственницы. Редко, редко падают неторопливые снежинки.

Беру палку и спешу в глубь тайги, подальше от жилья, туда, где слышен рокот грозного порога.

Как тихо, как хорошо в тайге. Солнца нет, снеговыми облаками укрыто небо, и сквозь колючие узоры леса виднеется долина Нижней Тунгуски. А за рекой угрюмо дремлет хребет Унекан, траурно-черный с белыми пятнами снега.

Тише, человек, тише. Взгляни, какую землю попирает твоя нога. Только взгляни, человек...

Слышу тайным слухом: шепчут мне хвои, весь воздух: «Не бойся смерти, человек. Смерть — сон. Уснешь, чтобы проснуться, как и эта тайга весной. Не будешь верить — умрешь, человек, и не проснешься. Верь».

Вот вижу: сквозь белую пушистую скатерть, только что вытканную мудрейшим ткачом из узорчатых блесток снега, проглядывает куст голубики. Ее спелые ягоды, голубые с беловатым пушком, так удивительно красиво проступают из белизны пороши. Срываю и пробую. Поддеваю в пригоршни снег и нюхаю долго, долго. Какой удивительный аромат: пахнет облаками, небом, вечностью.

Иду по мшистой шубе тайги. Оглядываюсь назад. По моим следам расцветают в снегу розы: то безглазая пята топчет подснежную бруснику, из брусники алая брызжет кровь.

Блеснуло на минуту солнце, позолотило стволы деревьев, зарумянило свежий ковер на полянках, поиграло зайчиками на хвое, скрылось.

Белка.

Становлюсь под дерево и, притаившись, жадно слежу за ней. Она распушила хвост, долго всматривается в мое лицо, испытующе хоркочет и, как пружина, упруго прыгает вверх по высокой прямой сосне. Приостанавливается, вновь взгля-

дывает на меня. Я замер, не шелохнусь, и это успокаивает ее.

Ах, плутовка! Она будто не замечает моего присутствия.

Я для нее — пень, ничто. Нет, притворяется. Я прекрасно понимаю, что за мной неотрывно следят ее глаза. Шевельнись только, и — прощай игра.

Скачет вдоль большого раскидистого отростка, садится на самый его конец, игриво поджимает передние лапки к белой груди. Бисерные глаза ее еще раз вскользь задевают меня, она грозит в мою сторону лапкой и, взметнув хвостом, несется сначала по суку, потом вниз головой по стволу к земле. Упруго скачет сразу четырьмя лапами почти до самых корней — не к моим ли ногам сейчас прыгнет, шельма, не сядет ли она на мое плечо, чтоб шепнуть колдовское зверючье слово? Нет. Вдруг круто повернулась в воздухе, и голова ее вновь вверху, а хвост стелется по стволу сосны, скок-скок-скок.

Опять бросает лукавый взгляд и, приняв беспечную дразнящую позу — лови! — она без боязни спускается вниз, на широкий столетний пень. Вот привстал на дыбочках, вновь с любопытством разглядывает меня, пришельца, презрительно грозит лапкой, ждет.

— Ужо-ко я ее. Ужо-ко! Где у меня ружье?! — улыбаясь, шепчу я, плененный игрой, как ребенок.

Не слышит и словно не видит, но знает, что нет ружья.

Хоркает, искоса смотрит на меня, трет лапками плутовскую мордочку, смеется.

— Ага, ты так?! — не утерпел, схватил палку, замахнулся.

Она стремглав на самую вершину и, раскинув кивером хвост, швыряет в меня шишкой.

Я ухаю, стучу по стволу палкой, как баран прыгаю возле корневища:

— Ух ты! Ух! Вот я тебя.

Она с вершины на вершину скачет где-то там, под облаками, и смеясь, задорно кричит:

— Что, взял? Ха-ха... Лови!

III. «Вера такой»

От устья Илимпен мы идем через непроходимую тайгу, снегами. Снег тихий, обильный, пушистый, настойчиво падал, падал без конца. Недавно был покров, а в иных местах сугробы в два аршина. Верховые наши олени выбиваются

из сил. Впереди всех идет вожак, тунгус Сенкича. Он по грудь вязнет в снегу, в его руках пальма, он с маху ссекает тонкие деревья, чтоб проложить путь каравану. Мороз, а он весь мокрый, от непокрытой головы струится пар. Сенкича — тунгус отменный, да, впрочем, и все они таковы. Завяжи ему глаза, кружи целый день тайгою, проспится, встанет утром и без ошибки пойдет куда надо. Ему не нужно солнце, он носит тайное чутье путей в самом себе.

За Сенкичей идет гуськом, нос в хвост, связка оленей — ольгоун. Верхом на переднем олене — баба Сенкичи с неугасимой в зубах трубкой и с ружьем за плечами. Через седло идущего за ней оленя перекинут берестяной кузовок с ее годовалым сынишкой. Он орет и час и два диким надрывистым криком. Я подъезжаю к ней, говорю:

— Уйми. Остановись, покорми его.

— Пускай гаркат,— отвечает она равнодушно,— пускай греется.

Когда я начинаю приводить резоны, стыдить ее, она в ответ бросает:

— У нас вера такой.

Эта фраза у тунгусов всегда на языке.

Задайте Сенкиче ряд вопросов: почему тунгусы сроду не моются? почему боятся мертвецов? почему мужчины носят косы? Один ответ:

— Вера такой...

За ольгоуном — еще и еще ольгоун, в каждом по восемь выючных оленей. Когда передняя связка выбьется из сил, ее ведут назад, в хвост каравана. А мы и человек пять тунгусов — верхами.

Однажды в солнечный день я остановил оленя и залюбовался нашим караваном. Я стоял на берегу небольшой речушки. Караван, растянувшись чуть не на версту, ходко спускался в долину. Снег был голубой, мириады блесков играли огоньками. Изжелта-белые пушистые олени шли четкой ступью. Они гордо несли свои густодревые рога. Вот сгрудились на извороте — целый лес рогов.

— Модо! Модо! Ко! Ко! Ко! Ко! — погоняют тунгусы оленей.

В сумерках кончаем путь. Вот уже полыхает огромный костер. Это расторопный Сенкича зажег сразу три рухнувших сосны. Разгребают снег, ставят конусообразный чум, на землю накладывают хвою, в середине разводят небольшой костер. Говорливый, пересыпанный хохотом обед из сохатины с сухарями и крепкий сон.

Утром выхожу с географической картой издания генерального штаба. Тот путь, по которому мы идем, на карте —

пустое место. Человеческая нога здесь не бывала никогда. Я шаг за шагом, поскольку позволяют обстоятельства, произвожу на всем пути съемку, ориентируюсь буссолью и часами.

— Сенкича! Где мы вчера ночевали? Покажи мне направление.

Он смотрит на меня удивленно и так же удивленно, с хитринкой, задает вопрос:

— Разве не знаешь?

В десятый раз начинаю объяснять ему, что мы здесь впервые, а тайга так однообразна, что, отведи любого из нас за сто сажен, и мы заблудимся. Да и все небо в тучах, солнца нет.

Он косится на меня сверху вниз, с непередаваемым чувством превосходства и снисходительно говорит:

— Ладно.

Я его научил вешить линию. Он берет две пальмы-рогатины, втыкает в снег сажен на десять одну от другой, отходит в сторону, прищуривает глаз, приседает, разводит руками, что-то шепчет, соображая, вот перенес переднюю рогатину на аршин вправо, присмотрелся, перенес на вершок влево, еще.

— Вот так. Иди, смотри. Там были... Э!..

Я прикидываю по линии буссоль, отсчитываю румб, заглядываю в книжку на вчерашнюю запись и поражаюсь: градус в градус.

Он следит за выражением моего лица и торжествующе спрашивает:

— Верна?

— Молодец! Я тебе подарю ружье. Теперь укажи, в какую сторону мы пойдем и где будем ночевать. Только чтоб верно было.

Сенкича сияет. Ружье для него — целое богатство. Он быстро переставляет рогатину, как колдун опять что-то шепчет, разводит руками, еще раз переставляет и говорит:

— Во, смотри!

Беру румб, записываю. Я вполне уверен, что завтра утром, на следующем стойбище, он точно укажет мне, за двадцать пять верст, это самое место, где сейчас стоим. Я знаю, что обратный румб будет верен, как и в предшествующие дни.

Чем это объяснить? Ведь это же — чудо! Я б всякого назвал лжецом, если б не проверил самолично эту удивительную способность тунгуса чувствовать пространство.

Я показал ему карту. Глаза Сенкичи загорелись. Долго, пристально смотрел, расспрашивал:

— Это что?

— Нижняя Тунгуска.

— Это?

— Катанга.

Он разбросил карту на снегу, припал на локти.

— А это Лемпо?— спросил он, проводя ногтем по черте.

— Да,— подтвердил я, вновь поражаясь быстроте его соображения. Человек впервые видит карту. Возьмите любого нашего мужика, он процарапает насквозь голову, а не поймет эту китайскую грамоту.

— А это Бирьякан?— задает вопрос Сенкича.

— Да.

— А это Туру?

— Нет, вот Туру. Это Пульваненга,— возражаю я.

Тогда Сенкича швыряет прочь карту, быстро выпрямляется и с сарказмом говорит:

— Какой дурак писал расписка? Врал! Туру вот где, Пульваненга — вот!

— Эту карту писали в Питере, ученые,— раздражаюсь я.

— Дурак писал,— настаивает Сенкича.

Он берет сучок и чертит на снегу весь наш предстоящий путь вплоть до Аннавара. Чертеж его схематичен, в прямых линиях. Но почти все впоследствии подтвердилось.

— Да как ты это, Сенкича, знаешь?

— Вера такой.

IV. Трое

Ночью по деревьям стучит мороз. В верхнее отверстие чума видны золотые россыпи звезд. В чуме страшный холод. Костер потух. Я лежу в одном белье под шубой. Надо бы разжечь костер, но встать нет мочи. Темно. Вот кто-то вскопчил, зябко сделал — брр,— лякнул зубами, опять упал, пробормотав:

— Язви тебя, вот холод...

Наш русский.

Потом вылезла из оленьего теплого мешка тунгуска Анна. Мешок у них двойной, семейный, спит в нем с Сенкичей, а сынишка — в берестяном кузовочке у костра. Не замерз ли? Однако нет — заплакал. Анна высекла искру, стала разводить костер.

— Замерзла, Анна?— спрашиваю.

— Взопрела,— посмеиваясь, отвечает она.

Анна поднялась во весь рост, потянулась, сняла рубашу, вывернула ее и распялила над пламенем. Рубаша надулась от жаркого воздуха колоколом и стала плавно кружиться в раскинутых над костром руках Анны, как карусель.

— Омко,— посматривая на меня, наставительно говорит Анна.

Я знаю, что такое «омко»; омко — значит вши.

Анна молода, очень красива, от ее бронзового крепкого тела веяло какой-то внутренней чистотой. Но эти окаянные «омко». Закрываю глаза и сердито кутаюсь с головой в шубу.

— Нюльга сегодня будет большая,— заявляет за чаем Сенкича. Глаза его узенькие, заплавленные от сна и таежной стужи.

За чумом голос Анны и бряканье бубенцов. Она собирает оленей. Это не так-то легко: они разбрелись по тайге, надо ловить арканом.

В путь двинулись около полудня. Солнечный, тихий день. На полянах снег слепит глаза. Тишина полная. Иногда с сосны слетит иней: это белка прыгнула на другой сучок. Белок попадается много. Но промышлять их нет времени. Однако Анне невтерпеж. Иногда останавливает она оленя и, приложившись к малопульке, метко срезает с вершины белку.

— А ловко ты бьешь!— кто-то бросает Анне похвалу.

— Вера такой,— скромно отвечает она, попыхивая трубкой.

Мы шли густыми зарослями. Здесь снегу было меньше. Сосны стройно возносились к небу, пушистые кроны их сливались вверх в одну.

Вдруг вдали раздался выстрел.

— Э! Наш промышляет,— сказал Сенкича и выстрелил в воздух.

Караван остановился.

— Это глухой Отыркон, старик,— сказал Сенкича.

— Геть, геть!— закричал старик на своих псов и подошел к нам.

— Здравствуй, Отыркон,— сняли мы шапки, с любопытством разглядывая его.

Тунгусы стояли молча. У них нет обычая здороваться. Старик смотрел на нас разинув рот. Собаки пофыркивали, дрожали.

Вид старика жалкий. меховая парка вытерта, оборвана донельзя, ноги обмотаны в какую-то рвань. седая голова не покрыта, кисти рук голы, красны, он отогревает их дыханием.

Скуластое голое лицо с приплюснутым носом обтянуто желто-серой морщинистой кожей. Узенькие глаза слезятся, щурятся. Мал ростом, но прям и быстр.

Сенкича обнял его за плечи и закричал ему по-тунгусски в самое ухо. Тот отрицательно помотал головой.

Обращаясь к нам, Сенкича сказал:

— Совсем глушился. Кудой его дела. Тфу!— и дал Отыркону свою трубку.

В руках старика дрянное ружьишко. Самодельная ложка-как стяпана топором. Старик подпоясан веревкой. Под веревку подоткнуты убитые белки, а к концу веревки привязана собака. Она сидела у ног хозяина, крутила по снегу хвостом и, высунув язык, весело посматривала на нас.

Старик еще выкурил трубку и заговорил довольно правильно по-русски. Голос его был слаб и тонок, как у скопца.

— Вот я старый, четыре раз по двадцать. Никого у меня нет. Совсем глухой. Оленей нет, ничего нет, смерть уехала куда-то, прощай. Как жить? Вот живем, я да две собаки. Кормимся. Смерть приедет, сдохну, куда они без меня? Мало-мало пропадут совсем. Чисто беда совсем...

— Неужели у него нет никого родных?— спросил я Сенкичу.

Да. Сенкича знает старика давно, он действительно одинок, но тунгусы не оставили бы его, кормили бы, да и сам Сенкича сколько раз звал его к себе. Неидет. Хочет жить своим трудом.

Сенкича помнит, как одно стойбище тунгусов взяло его к себе насильно, держало чуть не взаперти, ухаживало за ним — очень хороший старик, мудрый — нет, ушел.

Отыркон почувял, о чем мы говорим, и, усаживаясь прямо в снег, сказал:

— Нога шагал, глаз смотрел, работай. Пошто мешать людям? Людям и так совсем худо есть. Каждому свой камень есть. Не надо. Грех.

Он вздохнул, протер глаза снегом и, сделав руку козырьком, взглянул в лицо Сенкичи:

— Сенкича! Я буду околеть весной, в вершине Бирьякана.

— Откуда знаешь?— крикнул Сенкича.

— Будешь там кочевать, возьми ружье.

— Откуда знаешь?!— опять прокричал Сенкича и замаячил руками.

— Каменный Спас сказал.

— Кежма есть, село. Там каменная церковь. Спас,— пояснил мне Сенкича.

А старик продолжал:

— Вот лег спать. Вот слышу: Спас приехал в изголовень мне, сказал: ты старый, ты совсем дрянь, время твое поседело, ухо заросло землей. Этой весной станет тебя дуть шайтан. Сдохнешь голодом. Наплевать, не бойся...

По лицу Отыркона текли слезы. Подбородок дрожал. Он поднял голову к небу и перекрестился.

Я с печалью и жалостью смотрел на него. Он нищ, убог, но какой-то внутренний свет исходил от него, и чувствовалась несокрушимая сила в его душе. Так хотелось помочь ему. Но как помочь? Несчастный, погибающий старик.

— Шибко хороший Каменный Спас,— сквозь слезы шептал он,— борони бог, какой добрый Каменный Спас, обиды нет от него... Ну, я пошел.

Он быстро поднялся и, как бы спохватившись, громко спросил Сенкичу:

— Куда, бойе, нюльгиришь?

Сенкича всячески изощрялся, чтоб объяснить глухому: схватил меня за рукав, махал руками к югу, указывал на оленей, подгибал по очереди пальцы, чертил пальмой по снегу.

Но вдруг вдали взлаял черный пес Отыркона. Пестренькая сучка, привязанная к опояске старика, взвилась стрелой и бросилась на лай. Веревка взмыла, свалив Отыркона с ног.

— Куто! Геть! Геть! Куто!!— крикнул он, быстро вскочив и убегая за тянувшей его что есть силы собакой.

Тунгусы смеялись. Вскоре раздался вдали слабый хлопок ружья.

Я долго смотрел в ту сторону, куда скрылся лесной старик. Мне было грустно. Я думал о его недолгих днях, о последней его земной минуте. Холод, мрак, тяжкое одиночество. Когда сердце его устанет и по жилам едва-едва будет струиться холодеющая кровь, он покорно ляжет у потухшего костра и станет безмолвно ждать.

Когда я все это представил себе до четкой ясности и вдумался в слова старика — «умирать шибко сладко», — какое-то чувство зависти вдруг охватило меня всего. Не странно ли, что мы, люди иного уклада жизни, так боимся своей последней роковой черты, а он, этот немощный, первобытный старец, ждет смерти с радостной надеждой. Благо ему!

Мы двинулись дальше. Сенкича шагал со мной рядом, говорил:

— Белку без собаки доспеть трудно. Ясный глаз надо. Отыркон глаз — тьфу! Вот собака туда-сюда нюхтит. Далеко уедет, мало-мало совсем не видно. Отыркон навовся

закружится, все на восход лезет, на восход, а другой собак кэ-эк дернет его, прямо назад, старик вверх ногами, бряк! Однако притащит к белке, — бей, значит. Э! Так трое и жрут беду. Э!..

КРАЛЯ

I

Стоял октябрь. Погода направилась свежая, тихая.

Солнце так же ярко светило, но уже не было в лучах его прежней ласки. Бодрящим, трезвым оком созерцало оно слегка застывшую землю. Поседали травы. Подернулись лужи и болота тонким стеклом молодого ледка. Опал лист на кустах и деревьях. Рассветы стали туманны, задумчивы утра, тревожно-чутки дни, угрюмы ночи.

А вверху, по поднебесью, лишь выглянет солнце, тянулись к югу длинными колеблющимися углами запоздавшие журавли, торопясь от грядущих бурь и непогод в теплые страны, туда, где солнце еще не состарилось, где сверкают тихие реки да зеленеют мягкие бархатистые луга. Летят, курлыкают тоскующими голосами... Скорей, скорей...

Грустят ли, покидая север, радуются ли, стремясь в неведомые страны, — как угадать?

Лишь человек, прикованный неволей к земле, провожает их благословляющим взором; только щемящая тоска вдруг схватит его за сердце, и глаза нет-нет да и заволочутся слезой.

И загрустит человек, что нет у него крыльев.

Темным вечером по шершавой, с глубокими застывшими колеями дороге ехали купец Аршинин да еще доктор Шер.

Торопились скорей добраться до города, опасаясь, как бы не вспыхнуло вновь в небе солнце и не растопило подстывшую грязь.

Сибирские дороги длинные — едешь сутки, едешь другие, третьи, а конца пути все не видать.

Купец был тучный, рассудительный, выдавший виды, с большебородым ликом и веселыми, чуть-чуть наглыми глазами. Доктор — худощавый, подвижной и нервный, с растерянным взглядом больших черных глаз, безбородый.

— Скоро? — рявкнул купец.

Ямщик пощупал глазами тьму и хрипло ответил:

— Кажись, надо быть скоро... Быдто недалече...

И, быстро вскинув вверх руку, он браво зыкнул:

— Дела-а-й!..

Лошаденки боязливо покосились на кнут, проворней засеменили, и тарантас заскакал по замерзшим комьям грязи.

Темень висела кругом; но вот мигнул и опять погас огонек, а за ним мигнул другой, мигнул третий...

— Деревня?..

— Она самая...

Всем вдруг стало весело.

Доктор закурил папиросу, а купец сказал:

— Жарь на земскую...

Когда лошади поплелись тише, ямщик обернулся к се-докам:

— Ох, там и краля есть... Солдаточка...

Доктор торопливо затянулся папироской, улыбнулся самому себе и переспросил:

— Краля?

— И-и-и... прямо мед...

Купец икнул на ухабе и сказал чуть-чуть насмешливо, обратясь к доктору:

— Вот бы вам, Федор Федорыч, в экономочки кралю-то подсортовать. А?.. Хе-хе-хе... Вы вот все ищете подходящего резону, да на путную натакаться не можете.

Доктор не ответил.

— Ведь жениться на барышне не думаешь?— спросил купец, переходя вдруг на «ты»: с ним случалось это часто.— Ну вот. Да оно и лучше. Возьми-ка, брат, крестьяночку. На подходящую натакаешься — как собака привяжется. Чего тебе — кровь здоровая, щеки румяные.. Хе-хе-хе... Слышите?— И деловито добавил:— Только надо поприглядеться — как бы не тово... не этово...

Опять не ответил доктор.

— А звать ее Авдокея Ивановна,— сказал ямщик, видимо прислушиваясь одним ухом к разговору, и, ошпарив тройку, вновь гикнул не своим голосом:— Де-е-лай!..

Лошади птицами взлетели на пригорок, спустились, опять взлетели и, врезавшись в улицу села, понеслись по гладкой, словно высланной дороге. У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь, да еще здание школы светилось огнями. Было часов восемь вечера.

— А вот и земская...

К подъехавшей тройке подбежал дежурный десятский с фонарем и, сняв шапку, спросил:

— Лошадок прикажете али как?..

Фонарь бросал дрожащие снопы света на перекосившееся крыльцо земской, на курившихся паром лошадей. Подошли два-три мужика да собачонка.

— Вноси в избу всю стремлюндию,— сказал купец.— Куда в этаку пору ехать?..

— Куды тут,— радостно, все враз, заговорили мужики,— ишь кака темень... Ха! Ты ушутил?..

И весело засуетились возле тройки.

II

В земской тепло, пахло кислой капустой, печеным хлебом и сыростью от неумытого еще пола. Пламя сального огарка, стоявшего на лавке, всколыхнулось, когда Аршинин хлопнул дверью, и заиграло мутным колеблющимся светом по оголенным до колен ногам ползавших на четвереньках двух женщин, по их розовым рубахам и мокрым юбкам, по сваленным в кучу половикам, столам, стульям и стоявшим на полу цветам герани.

Женщины поднялись с полу, бросили мочалки и одернули торопливо подола.

Купец размашисто перекрестился на образа.

— Ну, здравствуйте-ка...

— Здравствуйте, здрасте...— враз ответили обе.

А та, что постатней да попроворней, приветливо метнула карими глазами и молвила певучим, серебристым голосом, от звука которого чуть дрогнуло сердце доктора, а пламя свечи насмешливо ухмыльнулось.

— Вот пожалуйста в ту половину, там прибрано.

И стояла молча, играя глазами.

Купец пошел как-то боком, на цыпочках, неся в руках чемодан, а доктор стоял столбом и мерил с ног до головы женщину.

— Вы не Евдокня Ивановна?— спросил он.

— Да... Она самая. А вы откуда знаете?

Купец высунул из двери бороду:

— Тебя-то? Авдокею Ивановну не знать?.. Да про тебя в Москве в лапти звонят... Ха-х ты, милая моя...

— Милая, да не твоя...

— Ну, ладно. Давай-ка, Дунюшка, самоварчик. Сваргань, брат, душеньку чайком ополоснуть...

— Чичас.

И пошла, ступая твердо и игриво, к двери.

Босая, с еле прикрытою грудью, с двумя большими черными косами, смуглая и зардевшаяся,— вся она, вся свежая и радостная, казалось, опьяняла избу тревожным желанием, зажигала кровь и дурманила сердца.

Купец посмотрел ей вслед плотоядными, масляными глазами.

— Ох, наваждение! Ишь толстопятая, вся ходуном ходит...

И пошел к чемодану, бубня себе в бороду:

— Ох, и я-а-ад баба... Яд!

Доктора бросило в жар.

Толстая, вся заплывшая жиром баба летала проворно по избе, расставляя столы и стулья.

— Подь в ту комнату, я половики раскину.

Доктор очнулся и пошел на улицу вслед за Дуней, а тетка полезла на печку.

Купец, утратив на время благочестивый облик, подполз к ней сзади и, ради первого знакомства, хлопнул по широкой спине ладонью.

Зарделась баба, улыбнулась и, пригрозив кулаком, сказала, скаля белые, как сахар, зубы:

— А ты проворен, бог с тобой... Ерзок на руку-то.

Купец хихикнул, тряхнул бородой и, почесав за ухом, сокрушенно ответил:

— Есть тот грех, кума... Есть!

Он крадучись щипнул ее за ногу и, прищелкнув языком, прошептал:

— Кума, эй, кума... Слышь-ка.

— Ну, что надо?— сбрасывая половики, задорно спросила баба.

— Слышь-ка, что шепну тебе.

Она неуклюже повернулась к нему, свесив голову. Он обнял ее за шею и шепнул.

Вырвалась, плюнула, захохотала.

— Чтоб тебе борода отсохла!.. Тьфу!

— Вот те и борода... Стой-ка ужо...

Вошел доктор, весь радостный. Купец отскочил быстро прочь, степенно прошелся по комнате, взглянул украдкой на иконы и тяжело вздохнул. Лицо опять сделалось постным, набожным.

А баба слезла с печи и пошла, почесывая за пазухой, к двери, брюзжа на ходу притворно строгим голосом:

— Ишь долгобородый, оха-а-льник какой... право.

Доктор быстро взад-вперед бегал по комнате, улыбался, выхватывая из жилета часы, открывая крышку, бесцельно

скользил по ним взглядом, совал в карман, чтобы через минуту вытащить вновь. И никак не мог сообразить, который теперь час.

Купец, сидя под образами, в углу, наблюдал доктора, а потом плутовато подмигнул ему и, раскатившись чуть слышным смешком, долго грозил скрюченным пальцем.

— Доктор, а доктор, знаешь что?

— Ну?

Купец еще плутоватей подмигнул.

— А ведь у тебя на лице-то... хе-хе... выражение...

— Вот это мне нравится... Ну, а дальше?

И опять забегал, то и дело выхватывая из жилета часы и улыбаясь тайным сладостным мечтам.

III

Когда на столе появился большой самовар, миска меду и шаньги, купец с доктором уселись пить чай. Оба они частенько прикладывались к бутылке с коньяком.

Отворилась дверь, и легкой поступью, поскрипывая новыми полусапожками, вошла Дуня.

— Дунюшка-а-а... родименькая-а-а... иди-ка, выпей чайку с лимончиком,— обрадовался купец.

— Кушайте. Куды нам с лимоном: мы и морщиться-то путем не умеем.

И прошла в маленькую комнатку, где лежали вещи проезжающих.

В комнатке был полумрак. Дуня что-то передвигала там с места на место, лазила в шкаф, бренчала посудой.

Купец шепнул, хлопая доктора по плечу:

— Иди-ка, иди. Потолкуй.

И опять подмигнул смеющимся глазом.

Тот улыбнулся и пошел в комнату, где Дуня звякнула замком сундука.

Купец пил рюмку за рюмкой, заедая шаньгами и солеными огурцами. До слуха его долетали обрывки фраз.

— Евдокия Ивановна...— говорил доктор, и голос его дрожал.— Вы не цените красоту свою. Ваши глаза... брови...

— А какой толк в них?

— Вы любите мужа, солдата?

— А где он? Нет, не шибко люблю. Не скучаю.

А потом раздался тихий вздох, за ним другой и тихий-тихий шепот...

— Пусти... так нехорошо... не на-а-до, не надо...

— Дуня, милая...

Купец выразительно крикнул и прохрипел пьяным голосом:

— Хи-хи... Легче на поворотах!

Доктор вышел, весь встревоженный, опустился возле купца и сидел молча, закрыв лицо руками.

— Вот что, господа проезжающие,— сказала вдруг появившаяся Дуня и, поправляя волосы, добавила:— Вы, то-во... лучше бы выбрались из той горницы вот сюда. Кажись, ноне урядник должен прибыть со старшиной.

— Урядник? Ха-ха... Эка невидаль! Урядник. Подумаешь...— брюзжал купец и, подавая рюмку, сказал:— Ну-ка, красавица, выпей. Окати сердечушко. Садись-ка вот так. Вот чайку пожалуйста...

Жеманясь, выпила она вино и утерла губы краем голубой свободной кофточки, из-под которой блеснула свежая рубаха. А потом села и заиграла глазами.

Доктор, овладев собою, тихо спросил:

— Так поедешь, Дуня?

У нее чуть дрогнула тонкая левая бровь.

— Пустое вы все толкуете. Разве вы можете нас, мужичок, полюбить?

Она сложила малиновые губы в насмешливую гримасу и молчала.

— Овдотья, эй, Овдотья! Иди, слышь, в баню, што ль,— проскрипел из сеней старушечий голос.

— Иду, бабушка, иду,— торопливо ответила Дуня.

И, обратясь к доктору, сказала тихо, словно песню запела:

— И поехала бы к тебе, и полюбила бы, да боюсь, бросишь.

Купец ответил за доктора:

— Мы не из таких, чтобы... Наше слово — слово... Обману нет.

— И верной бы была тебе по гроб, да вижу — смеешься ты.

Доктор потянулся к Дуне с лаской:

— Милая ты моя, чистая...

— Не трог... не твоя еще,— вскочила Дуня, сверкнув задором своих лучистых карих глаз.

Купец уставился удивленно в чуть насмешливое лицо ее, сясь понять, что у нее в сердце.

Дуня пошла легкой поступью к двери, а доктор — видимо, хмель в голове заходил — нахмурил вдруг брови и тяжело оперся о край стола:

— Пстой!.. Слушай, Дуня! А любовник есть? Любишь кого?

Та вздрогнула, гневно повернулась:

— А тебе какое дело! Ты кто мне — муж?

И вышла, хлопнув дверь. Через мгновение чуть открыла дверь и голосом мягким, с оттенком грусти, сказала:

— Кабы был кто у меня, неужели стала бы языком трепать? Ни сном ни духом не виновата.

IV

Когда купец был совершенно пьян, а доктор в полугаре, в комнату быстро вкатилась толстая баба.

— Урядник!— Она влетела в соседнюю каморку и стала выносить вещи путников.— Уж вы здесь, уж здесь, господа проезжающие. Я вот тут постелю. Уж извините...

Купец, ничего не понимая, молчал, а доктор рассеянно поглядывал на носившуюся из комнаты в комнату как угорелую бабу.

Распахнулись сени, сначала вбежал без шапки рыжий мужичонка с испуганным лицом и бляхой на сером зипуне, за ним ввалилось какое-то чудовище необъятных размеров, с пьяным, одутловатым, лохматым лицом, с мутными, косыми, навывкате, глазами.

Впереди суетился десятский:

— Ваше благородие, вот сюда...

За ним осанистый чернобородый крестьянин со строгим, хмурым лицом.

— Ннда... нда-а-а... Ха-ха! Тоже птицы, ничего себе... Урядник...— заплетающимся языком бормотал купец.— Эй, ты, доктор, понимаешь? Урядник... можешь ты своей башкой понять? А?

Урядник, услышав купца, появился в дверях своей комнаты и, держась за косяк, обиженно сказал:

— У меня, господа, дело, примите к сведению: убийство в волости, надо допрос снимать... так... что... маленькую комнату мне. Покорнейше прошу...

У купца, когда он выпивал лишнее, голос становился пискливым, а временами срывался на низкие ноты. Исподлобья посматривая на урядника и теребя свою бороду, он задирчиво сказал:

— Бери-бери-бери!.. Получай на здоровье... свою комнату с периной...с двухспальной... Хе-хе! Нн-да-а! Ты человек козырный. А мы что? Мы — людишки маленькие, тварь про-

езжающая разная. Докторишка какой-то да купчишка паршивый, соборный староста, например, с позволения сказать. Хе-хе... Эка невидаль!

— Что-с?

— Я тебе дам — что-с! — стукнул купец кулаком в стол и, грузно шевельнувшись, как куль шлепнулся на пол.

— Вот так раз... Хы... Сверзился... — бормотал он, барахтаясь меж столом и лавкой. — Господин доктор, врач! Эй, где ты? Подсоби-ка... А на Дуньку плюнь. Плюнь, не подходяще. Чи-и-стая... Солдатка-то, Дунька-то? Она те оплетет, как пить даст. Дур-рак!

Урядник крикнул, свирепо взглянул на доктора и с треском захлопнул дверь.

Купец дополз до брошенного в угол постельника, а доктор забегал — руки в карман — по комнате и, остановившись возле пластом лежащего купца, шипел:

— Я вам не дурак! Вы пьяны! О Дуне же прошу так не выражаться. Слышите? — и опять забегал.

А купец, приоткрыв один глаз, засыпая, мямлил:

— Дур-рак! Семь разов дурак.

V

Купец спал, задрав вверх бороду и посвистывая носом. В переднем углу, на полке, стоял большой медный крест, два медных старинных складня и медная, в виде кадила, посуда для ладана. На гвоздике висели ременные лестовки-четки.

«Народ набожный, — подумал, рассматривая, доктор, и ему было приятно, что Дуня живет в такой строгой, религиозной семье. — Должно быть, кержаки».

По комнате то и дело проходили к уряднику и обратно какие-то фигуры не то мужиков, не то баб — доктор не обращал внимания, — а из полуоткрытых дверей доносилось:

— Он к-э-эк его тарарахнет. Да кэк наддаст...

— Трезвый?

— Како тверезый! Кабы тверезый был, нешто саданул бы ножом в бок.

Затем слышался старческий кашель и глубокий вздох:

— Ох, грех-грех...

Доктор взглянул в зеркало и не узнал себя: лицо красное, возбужденное, а мускул над правым глазом подергивается, что бывало каждый раз, когда доктор волновался.

— Ты у меня не финти, сукин сын! — вдруг за дверями заревел урядник.

— Ваше благородие, господа! Да неужто ж я смел бы?..
Что ты, что ты... Пожалей старика... Ба-а-тю-ю-шка-а...

— Я тебя пожалею. Вот я тебя пожалею!

Шел суд и расправа, а купец храпел на всю избу и охал, да тоскливо попискивал самовар.

Доктор надел пальто и вышел на улицу. В висках его стучало. На душе ползало что-то, похожее на тревогу, и краслась к сердцу грусть.

Вот он тут сядет и подождет Дуню. Он скажет ей много хороших слов, ласковых и сердечных. Может, поймет его, может, даст ему счастье, надежду на хорошую, радостную жизнь.

Он сел на приступках покосившегося крыльца и, обхватив колени, вглядывался в тьму звездной ночи.

Ночь была тихая, ядреная.

На горе, за селом, колыхалось пожарище. Видно было, как клубились космы изжелта-серого дыма, а искры вились и уносились к темным небесам.

Где-то далеко-далеко заревели коровы да прогрохотала по мерзлой дороге телега. И опять тишина.

За воротами слышался чей-то разговор.

Доктор вышел на улицу. Три мужика.

— Что, пожар?

— Да, — ответили все вдруг, — рига у крестьянина горит.

— Не опасно?

— Нет... далече... так что за селом. А окромя того, тихо.

Еще что-то говорили, спрашивали его. Он отвечал и сам как будто спрашивал. Но все это — и разговоры, и зарево пожара — плыло мимо его сознания.

Он пошел во двор и снова опустился на приступки крыльца. Тоскливо стало.

— А что, Евдокия Ивановна не вернулась из бани?

— Поди нет еще. А тебе пошто?

Доктор не знал, что ответить старухе.

— Да я так, собственно... хотел самоварчик попросить.

— Ну-к, я чичас.

Он курил папиросу за папиросой, думал:— черт знает. Как это так сразу? Стра-а-нно. Это водка... все водка надделала. Пьян!

«Водка?— прозвучало в ушах.— Водка ли?»

Вдруг выплыли из тьмы чьи-то родные, ласковые глаза, поманили, усмехнулись, прильнули вплотную, смотрят.

«Что, любишь?»

Отмахнулся рукой. Замолкло, спряталось, пританлось.

Волна за волной шли мысли, то робкие и расплывчатые, то дерзкие и неотразимо влекущие.

Вот возьмет Дуню — красавицу, каких нет в городе. Привяжет ее к себе лаской, умом. Привьет ей любовь к знанию и заживет тихой-тихой, здоровой жизнью. Может быть, уйдет в деревню. Что ж, разве таких okazji не бывает?

— Да, да, в деревню,— думал он вслух...— Понесу туда свет, знание, помощь... А если... А вдруг?

Он не кончил, не хотел кончать: боялся.

Пожар на горе затихал.

— Дуня, дорогая моя...

Вот скатилась с неба звезда и, вспыхнув, исчезла в синем мраке неба.

— Сорвалась звездочка... А я пьян. И не идет Дуня... Краля? Ты говоришь — краля? Допустим...— бормотал, потягиваясь, доктор.

Подошла собака, поласкалась, лизнула в лицо, ушла.

Выплывали откуда-то звуки гармошки и песня. Прислушался доктор.

— Должно быть, рекруты...

Голос выводил, а ему, разрывая визг гармошки, подгавкивали другие:

Как во нашем во бору,
Там горит лампадка.
Не полюбит ли меня
Здесьняя солдатка.

Залаяли собаки, набрасываясь с остервенением. Хлопнули ворота. Раздались ругань, крик. А затем большой камень, очевидно пущенный в собаку, ударил в заплот. И опять ругань. И опять пьяная песня да лай собак.

— Что пригорюнился? Спать пора...

— Дуня!..— Доктор вздрогнул и жадно обнял ее, теплую, пахнущую свежим веником.

— Сядь, посидим.

— Да некогда... право... Пусти...

— Сядь, поговорим.

— Нет, пусти... Нечкогда.

Однако села, склонив голову к его плечу, и заглянула в глаза.

— Вот я хотел сказать тебе,— начал доктор, чувствуя, как дрожь овладела им и как стучат от волнения зубы.— Хотел сказать, что полюбил тебя горячо...

— Горячо-о-о? Не обожги смотри.

Она засмеялась тихим, хитроватым смехом.

— Хочешь ли, я возьму тебя с собою? Ты будешь моей подругой. Я покажу тебе хорошую жизнь... Хочешь?

— Ох, мутишь ты меня, барин. И зачем тебя нелегкая принесла сюда?

— Я тебя люблю... Приворожила, что ль, ты меня?

— В куфарки зовешь али как? Поди жена или зазноба есть?

— Нету, Дуня, нету. Никогда, никто...

— Ах, бедный ты мой, бедный! Дай пожалею.— Она высвободила руку из-под накинутой на плечи шубы и стала нежно гладить его волосы, лицо.

— Один, как сыч. Столько лет без любви, без ласки. Ах, как тяжело...

А Дуня ласково, нараспев, говорила, обнимая доктора:

— Милый ты мо-о-й... робеночек мо-о-й. Да-кась поцелую тебя.

Вот скрипнула в сенцах дверь: кто-то поставил на пол ведра и стал шарить по стене.

Дуня шмыгнула на улицу и притаилась, припав к стене крыльца.

Доктор сидел молча, не двигаясь, словно боясь спугнуть сладостный сон.

Опять скрипнула дверь: закричал кто-то, икнул, завозился, и вдруг из темноты сеней раздался старушечий шепелявый окрик:

— Ай! Кто тут? Ты штой-то хваташь?!

— Да это я... Саквояж ищу. Чемодан...

Дуня прыснула, узнав голос купца, и плотней запахнулась в шубу.

— Чиквая-а-н? Я те такой чикваан покажу. Язви те! Ишь облапал...

— Это ты, бабушка?— хрипел купец.

— А тебе ково? Грехо-во-о-дник...

Дуня давилась от смеха. Купец подошел к выходу, а старуха все еще шепелявила ему вдогонку:

— Чиквадан... Ишь ты, чего захотел. Какой-такой тут чиквадан про тебя доспелся... Тьфу!

Купец наткнулся на доктора:

— Ах, это ты? Мечтаниям предаетесь? Ну, ладно, мечтай мечтай... О чистой... хе-хе.

И он полез по ступенькам, держась за поручни.

Дуня скользнула в сени, но доктор настиг ее, распахнул ей шубу и жарко целовал шею, губы, грудь.

— Пусти,— молила его,— пусти!

— Не могу...

- Пусти... ну, пусти.
- А уходя, бросила:
- Я приду к тебе.
- Дуня-я-я!
- Родной мой... желанный.

VI

Самовар опять попыхивал на столе, и поставленный на конфорку чайник задорно стучал крышкой.

Было часов десять вечера. Допрос все еще продолжался:

— Попервоначалу он его в зубы съездил, а опосля того взашей, значит... в лен.

— В лен?

— В лен, в лен.

— Так-а-к...

Купец, лежа на полу, что-то бредил, стонал, ругался.

По избе ходила толстая баба, вся красная, лазила на печь, заглядывала в шкаф.

Купец вдруг быстро-быстро заработал во сне ногами, точно стараясь от кого убежать, потом подпрыгнул на постельнике всем телом, открыл глаза и гаркнул:

— Караул! Ксы!

Баба кинулась к нему и, припав на колени, прошипела:

— Тшшш... Чтоб тебя притка задавила. Это кот. Брысь!

— Тоись как кот?

— А я почем знаю как. Кот да и кот... Спи-ка знай.

— Боднул кто-то...

Купец сейчас же захрапел, обхватив руками голову.

Доктор, опьяненный вином и Дуней, целый час бродил по деревне. Наконец ему захотелось спать, и глаза его, утомленные, стали слипаться. Придя в земскую, он сел к столу и налил черного, как деготь, чаю. Вскоре явилась и Дуня.

Она несмело подошла к полуотворенной двери и спросила:

— Вам, господин урядник, чайку не прикажете?

— Убирайся! Некогда!— слышался злой, грубый окрик.

Дуня с омерзением взглянула на жирный, ползущий на воротник загривок, торчащие из одутловатых щек усы и отпыренные уши.

— Леший... каторжник,— сдвинув брови, обиженно прошипела она — и к выходу.

— Евдокия Ивановна!— ласково позвал доктор.

— Ну, что?

Он придвинул табуретку.

— Сядь.

Дуня улыбнулась, смахнула слезы, выпрямилась вся и, не подходя к столу, издали переговаривалась тихо с доктором.

Он раз и другой пытался подойти к Дуне, но она испуганно грозила ему пальцем, кивая глазами в сторону урядника.

— Почему, Дуня?— удивленно шепчет доктор.

— Ох, боюсь я его, окаянного,— ее лицо скорбно опечалилось, а меж крутых бровей легла морщина.— Зверь! Прямо зверь.

— Но почему?— еще удивленной шепчет доктор.

Дуня мнется, хрустит пальцами рук, взглядывает смущенно на доктора и говорит, волнуясь и проглатывая слова:

— Ох, не спрашивай ты меня, Христа ради. Услышит — убьет...

Доктор порывисто выпил водки. А Дуня шептала:

— Прямо Ирод, а не человек. Всех заездил... Всех слопал... Жену, варнак, в гроб вогнал, робят из дому выгнал. Охти-мнешеньки... Змеей подкольной к мужикам присосался, кровушку-то из нас всю, как пиявица, выпил. А куда пойдешь, кому скажешь — неизвестно... Ох, беда-беда!

Доктор подозрительно смотрит на Дуню, хмурится.

Но та, как солнце из-за облака, вдруг засияла улыбкой, сверкнула радостно глазами, подбоченилась и, тряхнув бусами, гордо откинула голову:

— Вот бери, коли любя! Не гляди, что криво повязана: полюблю — в глазах потемнеет!..

Счастливым, взволнованным доктор все забыл; манит к себе Дуню, говорит:

— Вот завтра, любочка моя... вот уедем завтра...

— А не погубишь?— Она стоит улыбается, того гляди смехом радостным прыснет.— Ну, смотри, барин!— задорно погрозила она пальцем, а в карих глазах лукавые забегали огоньки.

Незаметно уходило время, а Дуня все еще говорила с доктором. Давно погас самовар, кончился допрос, затихла деревня вместе с собаками, песней, пожарищем, только тут двое любовно беседовали да строчил протоколы урядник.

— Подожди денечек... Ну, подожди,— вся в счастье, в радости просит Дуня.

— Что ж ждать-то?

— Надо, соколик мой, надо. Потерпи! Навеки твоя буду,— влагая в слова певучую нежность, шепчет она. И вдруг, с тревогой:— Ты крепко спишь?

— А что?

Лицо ее сделалось серьезным, в глазах мелькнул страх, но через мгновение все прошло.

Еще нежнее и радостнее, издали целуя его, едва слышно сказала:

— Приду... на зорьке... милый.

— Что?— как камень в воду, бухнул внезапно появившийся урядник.— Что?!

Дуня побелела.

Он посмотрел тупым, раскосым взглядом сначала на Дуню, потом на доктора.

— Вы огурчиков приказывали?— растерянно спросила Дуня доктора.— Чичас,— и скрылась.

Доктор язвительно поглядел ей вслед: таким обычным и земным показался ему голос чародейки Дуни.

Урядник круто повернулся и пошел на свое место, оставив открытой дверь.

Доктор, посидев немного, стал укладываться спать возле купца. Сразу, как погасил лампу, комнату окутала тьма, но вскоре заголубело все в лунном свете. Хмельной угар все еще ходил в голове доктора, и, в предчувствии чего-то неизведанного, замирало сердце. Когда ложился, хотелось спать, а лег — ушел сон, и на смену ему явились думы.

Он лежит, вспоминает, улыбается. И все как-то путано в голове, туманно. Радостно ему, что Дуня стала его подругой, что за солдата выдали ее силой, что никогда не любила и не любит она никого, кроме него: так сказала ему Дуня. Лежит, удивляется: скоро, как в сказке. И это очень хорошо: такие вопросы надо решать сердцем. Вот завтра утром встанут, напьются чаю и уедут с ней в город. А потом доктор выпишет из деревни свою старуху мать, такую же крестьянку, работающую, простую, как и его Дуня. И тогда все трое заживут вместе. Эх, хорошо! Он лежит с открытыми глазами, спать не хочется, голова идет кругом.

Из комнаты урядника выступила желтая полоса света; в ее мутно-сонных лучах вдруг стало оживать висевшее на стене полотенце. Откуда-то взялись руки, грудь, голова с черными глазами, все это дрогнуло, зашевелилось.

— Да ведь это Дуня,— удивился доктор и с досадой взглянул на полуоткрытую к уряднику дверь.

Перо скрипело в руках урядника. Вот оторвался он от стола, сжал кулаки, потянулся всем жирным телом, зевнул и по-медвежьи рывкнул.

Белое видение исчезло, словно испугавшаяся выстрела птица.

— Тьфу!— и доктор перевернулся на бок.

Было тихо. Только слышалось, как, капля по капле, падала в лоханку вода из медного рукомойника.

«Буль... буль... буль...»

Раздались удары в колокол. Плыли они тихо, разделенные большими промежутками времени, и, казалось, засыпали по дороге тихим сном.

Просчитав пять ударов, доктор забылся, ему пригрезилось, не то во сне, не то наяву, как урядник вскочил со стула, подполз на четвереньках к полотенцу, зацепил им за ввинченный в потолок крюк, сделал на полотенце петлю и повесился. Но вбежавшая, во всем красном, Дуня ахнула и быстро перестригла петлю. Урядник всей тушей упал на доктора. Тот вздрогнул и открыл глаза. Сон. Колокол еще раза три ударил и замолк. На докторе тяжелая, отекаящая рука купца. Он сбросил с себя каменную руку и отодвинулся на край постельника.

Купец завозился, перевернулся на другой бок и что-то забормотал, а потом отчетливо произнес:

— Яд-баба... Яд!

Запел петух где-то близко, в сенцах, за ним другой, третий.

«Вот приду... Ох, желанный мой»,— сквозь сон слышит доктор.

Притаился, слушает, незаметно засыпая.

«Ох, сладко поцелую... Обожгу тебя... О-о-о-х...»

Он слушает, улыбается и засыпает крепче.

VII

Долго ль проспал доктор, неизвестно, но встрепенулся, когда кто-то хватил его, словно шилом в бок. Вздрогнул, протер глаза.

Дверь в комнату урядника почти закрыта, оставалась лишь неширокая, в ладонь, щель.

Доктор взглянул и обмер. Протер глаза, смотрит. Опять протер, приподнялся. Глядит и не верит тому, что видит.

— Неужто?

Он ползет к двери, прячется в тень, как вор, и широко

открытыми глазами впивается в жирную копну урядника и сидящую у него на коленях, в одной рубашке, Дуню.

— Вот это шту-у-ука!..— тянет доктор; он слышит, как бьется его сердце да капля за каплей, падая в лохань, булькают и насмешливо рассыпаются в обманной подлой тишине.

Дуня обвила оголенной рукой толстую шею урядника, гладит его волосы, что-то шепчет и улыбается лукаво и ласково.

Урядник хохочет неслышно, и его живот, подпрыгивая, колышется в такт смеху, а вместе с ним колышется Дуня, стройная, свежая, в розовой рубашке.

— Два с полтиной, два с полтиной!.. Нет, врешь,— бредит скороговоркой купец и, застав, добавляет убежденно:— Еще успеешь угореть-то.

Доктор испугался, пополз было назад, но раздумал.

Дуня встала, заслонив собою свет лампы, и через рубаху соблазнительно сквозило красивое тело. Закинув руки за голову, она потянулась лениво и страстно, привстав на носки, а чудище облапил ее левой рукой, притянул к себе и зашептал хриплым голосом:

— Чего он тебе толковал-то?

— А ну их к чертям!— почти крикнула она.

— Тсс... услышит.

— Спят... нажрались оба.

Доктор тарашит глаза, дивится. Не во сне ли, думает. А они, проклятые, шипят гусьями:

— Люблю тебя, Павлуша.

— Любишь? Ты чего-то юлишь, по роже вижу, что юлишь... А дьячок-то!

— Не вспоминай. Ведь каялась... Чего же тебе надо? Прости!

Замолчали оба. Он красного вина подносит, сам'пьет, се плечо лапой гладит, тискает.

— Ночевать не будешь?

— Нет, ехать надо.

— Подари колечко. Может, не увидимся... Уйду.

— Что-о?

Таящимся, но злобным смехом всколыхнулась Дуня, задорно запрокинула с двумя черными косами голову, взметнула вверх руки, хрустнула пальцами и, покачиваясь гибким станом, протянула:

— Испужа-а-лся?.. А ежели уйду? Кто удержит?

— Сма-а-три, Дуня!

Урядник поднял над головой револьвер, потряс им в воздухе:

— Со дна моря достану, из могилы выкопаю, воскрешу и перерву глотку... Знай!

Она прижала локтями грудь, съежилась, вздрогнула зябко:

— Заколела я чего-то... Поцелуй.

Потемнело у доктора в глазах: сон или не сон? В ушах шумит, во рту пересохло, и, как в наковальню молотом, бьет в груди сердце.

Быстро поднялся с полу — нет, не сон, — быстро подошел к постельнику и, нагнувшись, стал шарить спички.

У урядника погас огонь и захлопнулась плотно дверь. Оттуда слышалась не то ругань, не то смех.

Доктор зажег лампу. Руки его дрожали. Взгляд стал диким, растерянным, а мускул над глазом запрыгал. Он налил в чайный стакан коньяку и жадно, залпом, выпил.

«Нет, не сон...»

Была глухая ночь. Хмель нахрапом вползал в его голову. Заскакали мысли, перепутались, как испуганное стадо баранов, и бросились врассыпную. Чувствовал он, как уползает из-под ног почва, как все горит и стонет у него в душе. Тяжко сделалось.

Время шло. Лампа давно погасла, копоть от тлеющего фитиля висела над столом черным угаром, а сквозь окна глядела луна.

— Эй, ты, господин торгующий... купец! — говорил доктор пьяным голосом. — Тарантас этакий, а? Слышишь? Храпишь? Ну, черт с тобой, спи. Н-нда-а... Болотина-то, грязь-то какая. Ай-яй-яй-яй-яй... Ай-яй-яй-яй-яй... Бррр! Где тут гармония, красота? Вдруг урядник... и Дуня. Ходячее пузо какое-то... и алый полевой цветок. А? Нет, ты посуди, Аршин Иваныч, прав я или не прав? Дурак я, слюнтяй, интеллигент, мечтатель, кисель паршивый! Вот кто я...

Доктор приподнялся с лавки, взъерошил волосы, вытаращил глаза и закричал:

— Эй, вы, красивые... двое! Заперлись?

В комнате урядника примолкли, притаились, умерли.

— За что ж ты мне в душу-то харкнула? А? Ведь ты кто? Знаешь, ты кто? Змея!.. — стал кричать, топая ногами, доктор.

Во тьме что-то зачавкало, всхлипнуло, зашипело, и раздался голос купца:

— Вы с кем это рассуждение имеете?

Доктор удивился звуку голоса, но встал, побрел, еле держась на ногах, к купцу и упал возле него на колени. Целовал его, плакал горько пьяными слезами, жаловался:

— Где же правда, где? Вдруг Дуня — и на коленях у брова. А?.. Зачем обещать тогда? А ведь так клялась...

— Да-а-а, вот оно что. Хе-хе-хе. Так-так-так. На то и щука в море. Вот те и чистая! Ха-ха! Вот те и краля!

Доктор, покачиваясь, стоял на коленях и грозно тряс кулаком:

— У-ух ты мне! Куроцап! Убью!!

— Смотри, отскочите...— иронически заметил купец и продолжал, зевая:— А ты вот лучше высморкайся да ложись спать с богом. Ишь ночь...

Он еще раз зевнул, перекрестил рот и, перевернувшись, добавил:

— Она даром что Авдокея Ивановна, а умная, стерва: где пообедает, туда и ужинать идет.

Сказал и через минуту захрапел.

Слышно было, как во дворе раздавались деловитые голоса, бубенцы побрякивали, тяжелые сапоги топали по сенцам и ступеням крыльца, отворялась и затворялась наружная дверь.

Заскрипели ворота, рванули кони, колеса затараторили.

— С бого-о-ом!

Тявкнула спросонок собака, опять заскрипели и хлопнули ворота, побродил кто-то по двору, и все стихло.

Час прошел, томительный и длинный, наполненный вздохами, бессвязным бормотанием, затаенным ночным шорохом: должно быть, черти бродили по избе.

Луна еще не ушла с неба, но конец ночи близок.

— Барин, а барин,— еле слышно позвала неожиданно Дуня.

Она стояла среди комнаты, трепетно-белая, охваченная снопом лунных лучей.

— Желанный...

Доктор застонал, открыл глаза и зло перевернулся лицом вниз.

Дуня стоит над ним, что-то причитает и вся дрожит, как в непогоду дерево.

— Слушай-ка... Не серчай...— льется нежный, молящий голос.— Ты разбери только по косточкам жизнь-то мою, разбери, выведай. Не серчай, ради господ.

— Тебе что надо?— повернув к ней голову, крикнул доктор.— Тебе, собственно, что от меня требуется?— и опять уткнулся в подушку.

Прошла длительная жуткая минута. Дуня несмело опустилась возле него на колени.

— Ах, милый, рассуди: ведь смерть, прямо смерть от него, от лиходея, от урядника-то... Муж бил, вот как бил, житья не было; забрали на войну, обрадовалась — хошь отдохну. Тот черт-то привязался, урядник-то... запугал, угрозил: «убью!» — кричит, а защитить некому — одна. Ну и взял... А все ждала, сколько свечей богородице переставила; вот, думала, найдется человек, вот пожалеет. Пришел ты, приласкал, такой хороший... аж сердце запрыгало во мне, одурела с радости. А с ним, с аспидом, развязалась, отвела глаза, успокоила — убил бы. Понял? Вот, бери теперича... Возьмешь?

Затаив дыхание она робко ожидала...

— Возьму... Эх, ты...

Пала рядом с ним; отталкивал, гнал, корил обидными словами, а сумела остаться возле, впилась дрожащими теплыми губами в его лицо, замутила голову, всколыхнула хмельную кровь.

— Ах, желанный мой! Люблю! — восторгом, неподдельной радостью звучала ее речь: ждала, насторожившись, — вот скажет, вот обрадуется.

— Убирайся ко всем чертям! — после минутного раздумья презрительно и жестко бросил доктор: — Марш отсюда!

— Только-то?

— Марш!!

— Стой, кто тут? — прохрипел купец. — Ты, Дуняха? — Он быстро приподнялся, зашарил-замахал в полутьме руками и, сидя на полу, шутливым голосом покрякивал: — Давай-ка, давай ее сюда! Хе!..

И слышно было, как Дуня, поспешно удаляясь, ступала босыми ногами, скрипнула дверью и там, за стеной, не то захохотала, не то заплакала в голос, как над покойником бабы.

— А ты, доктор, дурак! — сказал, опять повалившись, купец.

Но доктор лежал, свернувшись клубком, с головой закрывшись одеялом, и, как смертельно раненный, мучительно стонал.

На рассвете для доктора стали запрягать лошадей.

Заложив за спину руки, он торопливо ходил по двору, хмурый и сосредоточенный, в сером, перехваченном кушаком, бешмете и высокой папахе.

А кругом суетились, закручивали лошадям хвосты, подбрасывали в задок сено, укрепляли веревками вещи.

Доктор проворно вскочил в тарантас, забился в угол и закрыл глаза.

— Трогай со Христом!— приказал чей-то стариковский голос.

Четко ступая по бревенчатому настилу, шагом пошли к воротам кони.

Когда на улице проезжали мимо окон земской, ямщик-подросток, вздохнув, сказал:

— Эх, Дунька-то как воет... Чу!— и враждебно взглянул на седока.

Доктор вздрогнул, открыл глаза. Больно, мучительно больно... Мерзко... Он высунул было голову, но ямщик гикнул, лошади рванули, понесли.

— Точка,— растерянно прошептал доктор, вновь забился в угол и крепко сомкнул усталые, полные грусти глаза.

Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный. Еще дремал воздух, дремотно падали снежинки, все дремало, и бубенцы с колокольцами тихо звякали, зябко вздрагивая на холодке.

На доктора валился сон. Засыпая, он грезил о том, как зима придет с метелями и морозом, и все уснет в природе под белой теплой шубой. Но пролетит на легких крыльях время, и вновь наступит молодая, нарядная весна с ковром цветов, ликующим хороводом птиц. И опять длинными колеблющимися треугольниками полетят с юга, но с новыми вольными песнями, радостно переключаясь, журавли.

ЧУЙСКИЕ БЫЛИ

Эх, да как стегнула по Алтаю Чуя, священная река. Белые стоят на горизонте горы, все в вечных снегах, Чуйские Альпы, земли надгробие. В них родится Чуя, священная река.

Сначала степью течет она: ни лесу здесь нет, ни сочных трав. Зато отсюда ближе небо, ярче звезды, чище, прозрачней воздух.

Вся степь, во времена минувшие, до самых горных маков была водой залита: века веков плескалось здесь озеро голубой волной. И стерегли это озеро каменные витязи, Чуйские Альпы, богатыри алтайские, плечо в плечо стояли каменной стеной.

Но не удозорили, не усмотрели: обмануло их озеро, убаюкала их зыбун-волна, уснули крепко. А вода прорвала себе ход, проточила горы и хлынула.

Гул пошел по Алтаю, земля затряслась, осыпались камни. Широко волна хлещет, опрокидывает скалы, грохочет и стонет и мчится вдаль бешеным потоком.

Это Чуя, рожденная в снегах, горами плененная, вырвалась на волю и понеслась меж расступившихся в страхе Алтайских гор.

А озеро обсохло, и дно его превратилось в песчаную Чуйскую степь.

Так стародревняя быль говорит.

На Чуйской степи есть маленький русский поселок Кош-Агач. Такой маленький, что с гор, обнявших степь каменным кольцом, его и не приметить.

Через Кош-Агач Чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он сибирский город Бийск с монгольским — Кобдо.

Весь бы этот тракт серебром можно вымостить да золотом, что загребли-захапали купцы у алтайцев и монголов.

Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из узких глаз полудиких, с чистой душой кочевников; такой большой обидой и горем наделил их русский неистовый, алчный хищник.

Так говорит про купцов недавняя быль.

Бурным шумом шумит, шорохом шелковым...

Эй, подожди, Чуя, вода холодная! Куда бежишь, куда по камням вскачь мчишься? Стой, Чуя, стой! Расскажи нам вчерашние и сегодняшние были свои.

I. Зеркальце

Зеркальце как зеркальце. Маленькое, круглое, цена ему — пятак.

Купец их с дюжину привез в горную степь. Давно дело было, в этот заброшенный край еще никто зеркал не важивал.

Думает купец:

«Надо калмыкам продать, надо калмыков нагреть. Греха тут нету: калмык не человек, — зверь, и душа у него, как у пса, — пар. Зверь и зверь».

Едет купец в гости к своему другу, калмыку Аргамаю, которого не раз надувал.

Вечером приехал, к огоньку. Аргамай в юрте сидит толстый, сильный. Один у камелька сидит, баранью кость гложет и мурлычет песню о том, как он завтра на заре

будет кочевать к снегам, где такие вкусные сочные травы — сладь скоту.

— Эзень!— поздоровался купец.

— Эзень, эзень!— откликнулся Аргамай, всматриваясь в пришедшего.

— А-а-а...Эвон кто! Друг...— радостно вскрикнул и уступил гостю свое место.

У костра засуетился,— огонь ярче вспыхнул,— полбарана положил в котел, чай по-калмыцки готовить начал: с молоком, жареным ячменем и солью.

— Баб нету... Один больной, другой в гости укатил к отцу.

— Нет ли арачки?

— Бар, бар...— и подал в турсуке самодельную из молока водку.

Сидят, беседуют. Огонек весело горит. Арачка вкусная, теплая, по жилам загуляла, в мозг ударила, дала волю языку.

Калмык смеется, и купец смеется, по плечу Аргамая хлопывает, льстивые речи говорит:

— Ни у кого таких коней нет, как у тебя. Самые лучшие быки у тебя. Самые лучшие бараны у тебя. Ты богатый. Жена у тебя красивая.

Говорит, арачку пьет, баранину ест.

Аргамаю любо, слушает, смеется и, чтобы не остаться в долгу, говорит гостю:

— Ты самый хороший есть. Самый верный... Друг...

Вспомнил купец про зеркальце.

Думает:

«Надо подарить. Убыток небольшой — пятак».

Достал, показывает.

— На-ка, поглядишь.

Смотрит Аргамай пристально. Приковало его зеркало.

— Это кто?

— Да ты...

— Как я?! Это шайтан!

— Нет, ты...

Молчит, еще пристальней всматривается, недоверчиво на купца смотрит, говорит ему:

— Чего врешь?! Нету!.. Шуба-то моя, а рожка сроду не видал, не знаю!..

Купец блаженно улыбается, а калмык от нетерпенья заерзал по войлоку, руки дрожат, крепко уцепились за волшебное зеркало. Сроду такой чудесной штуки калмык не видывал.

— Да ты надень шапку-то... Видишь?.. Ты!..

Смотрит калмык — его шапка в зеркале, косу смотрит — его коса, с ленточкой, бородавка на носу его,— ущупал...

— Ха-ха-ха!.. Продай... Делай милость, продай!

А купец совсем обмяк, радость другу своему доставить хочет, говорит.

— Да я тебе его...

— Делай милость, продай... Сколько хочешь возьми!..

И вдруг купеческая душа в подлую алчность покатилась.

— Нельзя...— чуть дрогнув голосом, сказал купец.

— Возьми быка... Ребятам, бабам казать буду... Ха-ха-ха... Пусть смотрят рожам...

— Нет, нельзя,— твердо купец сказал и легонько зеркальце к себе тянет.

Аргамай не дает...

— Два быка, три быка!.. Хороших!..

— Что ты, я сам дороже заплатил... В Москве добыл... Знаешь, слышал?

Чуть не плачет Аргамай, большой ребенок:

— Возьми четыре быка... Пожалуйста, возьми, друг!..

— Пойдем быков ловить,— жадно сказал купец.

Аргамай смеется плутовато, зеркальце подальше прячет, на купца с опаской смотрит, не продешевил ли тот, не отобрал бы...

Ласково ему говорит тонким своим голосом:

— Ты самый хороший есть. Самый верный... Друг...

Поздно ночью, возвращаясь к себе в стан пьяный купец. И, выписывая в седле опьяневшим туловищем мыслете, весело вслух думал:

— Он на то и калмык, чтобы его учить. На то он и татарская лопатка.

II. Часы

Жил-был ласковый торгаш с мышинными глазами. Он такой хитрый, что любого шайтана мог трижды перехитрить. Плут.

Приезжает к нему старый киргиз Юсуп.

Посидел, покалякал, кое-что купил.

А торгаш только что свежий товар из города, из Руси получил.

— Купи часы...

Взял киргиз в руки часы, полюбовался ими, языком прищелкнул:

— Живой... стукат...

— Купи!

Вздыхнул Юсуп. Надо бы купить,— не себе, а сыну, доброму джигиту. Эх, надо бы купить.

— Я бы купил. Денег нет... Вот будут, куплю.

Не любил Юсуп в долги залезать.

Водкой купец угостил его, целый стакан подал:

— Пей!

Магометанская вера строгая: водку запрещает пить. Однако Юсуп с хорошим человеком маленько выпить может, греха таить нечего.

А водка злая, крепкая, рот обожгла, веселым туманом обложила сердце.

Еще стакан подал:

— Пей на здоровье!

Очень ласковый торгаш.

Попрощался Юсуп, сел на своего верблюда, поехал.

Степью ехал. Тихо было в степи. Лишь кузнечики неумолчно в траве трещали. Небо бледное, в бледных звездах — белых лебедях. Из-за снеговых хребтов подымалась луна.

Едет старый Юсуп, улыбается, с верблюдом разговор ведет и, пьяненький, начинает напевать:

— Вот месяц смотрит... Алла-алла... Круглый, зоркий, как глаза великого аллаха... Светит мне, светит верблюду...

Дальше едет... Тихо в степи... Кто-то навстречу скачет... Свой...

Проскакал джигит. На ходу кричит что-то, но Юсуп не слышит. В небо глядит, месяцу слезящимися глазами подмигивает. Месяц щурится и ярче освещает степь.

Поет Юсуп:

— Месяц, месяц... Золотой мой месяц... Мне хорошо, я был бедняк, а вот выпил вина — богатый стал. Я старый, как в реке черный камень... Вот куплю часы... Урус часы привез... Я их куплю... Часы, часы... Гей, часы. Живые...

И он громко рассмеялся.

И зароились в его голове серебряные мысли, как те круглые, маленькие, блестящие часы, которые он видел у торговца. Их много, не пять, не десять, много. Он все их купит, все часы купит, он всем раздарит. Старой своей жене, молодой жене да дочке... Сыну, джигиту, трое часов повесит, себе целый десяток... Ха-ха... Пусть тикают, пусть вертят стрелками. Это больно хорошо... Он верблюда часы подарит, он быку подарит. Пусть и бык при часах ходит... Хе-хе...

Вдруг слышит: застонала степь. Дробный топот по степи звучит, отчетливый и быстрый. То кони скачут, бьют копытом землю, гудит земля.

«Ага, свои...» — думает Юсуп.

Весело Юсупу. Огоньком вино по жилам бродит.

«Остановиться надо. Потолковать надо...»

Нагоняют. Купец. С ним люди...

— У меня, друг, часы пропали... Которые ты в руках держал...

«Пропали так пропали... Ха-ха... Эка штука. При чем же тут Юсуп?»

— Я не брал,— говорит он, улыбаясь старым своим бронзовым лицом.— Пусть аллах меня с коня столкнет; когда я над пропастью поеду. Я не брал...

Ласково торгаш отвечает:

— Да мы знаем, что не брал. Вот я с понятыми еду, всех обыскиваем... Вас много в лавке было...

— Ищи, пожалуйста, ищи!

Верблюда посохом по ногам слегка ударил, опустил-ся верблюд на колени. Юсуп слез и с готовностью подошел к купцу, раскорячивая по-пьяному ноги. Глаза черные, лучистые, открыто на купца глядят. Лицо добродушное, доверчивое, бороденка хохолком — дрожит.

— Пожалуйста, ищи. Не брал...

Стали обыскивать. Халат расстегнули... И вдруг...

— Ой, алла, алла!..— за пазухой часы.

У киргиза глаза широкие, рот открылся, замер киргиз... И, схватившись за голову, закричал упавшим, рвущимся голосом:

— Вой-вой-вой!.. Не брал!..

Торгаш на всю степь взревел:

— Ребята, вяжи!.. В тюрьму его!..

Вмиг месяц колесом по небу завертелся и упал, серебряными нитками осыпались звезды, небо почернело, всколыхнулась под ногами степь.

Бросился Юсуп на колени, скривил свой старый рот и заскулил жалобно. И не знал, не видел из-за слез, куда ползти, кого молить, где торгаш, ласковый его друг.

— Ой, не надо тюрьма... Ради бога, не делай... Ради бога... Чего хочешь, проси...

Взял купец верблюда, велел пригнать на заре трех лучших игреневых жеребцов. И с честью возвратился восвояси.

III. Тавро

Купец Неправедный, рода крестьянского, в молодости пастухом был, из Монголии гонял хозяину овец.

— Я умный,— хвастался он, богатым буду обязательно. И верно. Разбогател — распыхался вскорости.

Народ говорил про него:

— У этого рука не дрогнет. Он крест сбросил, а совесть-то пяткой приотптал.

И задумал он в Кобдо ехать, там орудовать.

Приехал, лавочку открыл, руки загребущие расставил, хайло свое, рот щучий открыл широко.

Но рыба ловилась все мелкая, осетры к другим торговцам плыли, и ему стало завидно.

— Это что за дела,— как-то сказал он в Иркутске, в клубе, сидя в компании купцов,— вот кого ежели б по башке шкворнем съездить да капиталом завладеть.

Купцы возмутились:

— Негодяй!! — И немедленно спустили его с лестницы.

Почти в одно время с купцом Неправедным поселился в Монголии, в городе Кобдо, тихий монгол Раптан, торговый человек. Он старик, ему восьмой десяток идет. У него три сына, два внука. Все вместе торгуют, одним живут домом.

Раптан старик хороший, норовит по правде торговать.

Подружился он с Неправедным, в гости ходит, к себе принимает.

Неправедный тихоней прикинулся, ласково обращается с монголом и со всей его семьей. Дружба завязалась тесная.

Говорит как-то Раптан другу:

— У меня душа не на месте. Я из Китая удрал, кредиторам много должен. Как Большой Кулак бушевал в Китае, у меня три магазина разграбили. Я и удрал сюда. Вот рас-торговался.

Год за годом протекли, десять лет прошло. В дугу согнуло время старого монгола, плохо видеть стал, плохо слышать стал, и, день и ночь богу молится, готовит себя к смерти.

А друга своего первого, русского купца Неправедного, не забывает: и у него гостит, и к себе часто зовет, угощает его, подарки делает — то коров пригонит, то бегунца саврасого подарит, то пришлет купеческой жене куска два китайской чесучи.

Живет старик спокойно, прежние кредиторы потеряли его след, все пути к нему поросли бурьяном.

И вдруг напасть... Из Китая беда идет, нищету тащит за собой на веревочке.

Пришел к старому Раптану монгол и говорит:

— Ой, Раптан, берегись. Тебя ищут, тебя завтра схватят, все возьмут: чиновник в очках из Китая едет долг с тебя получать.

Раптан не сразу понял: и раз и другой переспросил гонца. А как понял,— зашатался, на пол сел, в глазах темный песок, в груди льды идут:

— Я никому не должен. Я им был должен, трем купцам. Но у меня все разграбил Большой Кулак. Пусть с грабителей ищут, пусть с правительства требуют. Я не должен.

И мрачный, опираясь на костыль, побрел к своему другу купцу Неправедному.

Пришел и тихим, старческим голосом говорит ему:

— Вот ты умный, все законы знаешь, все порядки знаешь... Ты добрый, ты друг. Научи, что делать. Защити.

Еще что-то сказать хотел, но запрыгали губы, пропали все слова, слезы полились. Лицо застыло, потеряло жизнь. Слезы льются из запавших черных глаз, а лицо спокойно. Голова низко опущена.

Страшно сделалось купцу, жалость большая родилась в сердце.

Говорит купец:

— А очень просто... И ни черта не получают...

Поднял старик голову:

— А как, друг?

Купец по комнате похаживал, красную бороду утюжил, что-то обдумывал.

— У тебя сколько голов скота?

— Верблюдов сто, быков две тысячи, лошадей с лишним тысяча, овцам счету нет... Забыл...

Сел купец, цепочкой играет на толстом животе, на лбу пот выступил: жарко.

— А очень просто!— крикнул он, хлопнув монгола по плечу.— Слушай!— глаза пошли искрами.

Монгол рот разинул, благоговейно руки сложил: вот мудрость божия польется из уст купца.

— Сейчас же клади на весь свой скот мое тавро, мою мету. А на подмогу я приказчиков пошлю, к утру все оборудуют.

— Так-так...— кивает головой монгол.

— И скажешь, что скот не твой, а мой...

— Так-так...

— А сколько у тебя товару?

— Тысяч на двести серебром.

— Скажи, что и товар не твой, а мой... Я завтра для отвода глаз и в лавку твою сяду. А ты мне вексель выдай на

двести тысяч серебром. Понял?.. Так чиновник и уедет несо-
лоно хлебавши,— поговорка у нас, русских, такая есть...
А я тебе все потом верну. Не сомневайся...

Старик встал, опираясь на костыль, низко-низко купцу
поклонился:

— Мы тебе верим... Мы тебе верим, друг, Ван Ваныч...

Прошло два дня, томительных и длинных. У стариков
время быстро летит: день за днем, неделя за неделей,—
глядь, и год прокатил.

Но эти два дня старому монголу показались вечностью.
Душа начеку была, вся преображенная, насторожившаяся
до предела: словно старик переходил по тонкой жердочке
через пропасть, а жердочка гнется — вот-вот слетишь... Ему
и по земле-то ходить горе, а тут приказано идти по тропинке
зыбкой.

Жутко старику.

И началась у него новая жизнь: вышел в поле, с пастуха-
ми своими живет, свой скот, меченный новым тавром купца,
караулит.

А купец в его лавке сидит, торговлю ведет, ждет китай-
ского, в очках, чиновника. Три хозяйских Раптановых сына —
вроде приказчиков, тут же в лавке, робкие, прихлопнутые
горем, как капканом зайцы.

В полтретьем дне — хватать! — обломилась жердочка.

Охнул старый монгол, затрясся весь: как волк перед ов-
цой, вырос перед ним в желтой кофте чиновник.

— Я знаю, ты — Раптан, из-под Калгана, ты торговый
человек, большой должник. Ты богатый. Суд постановил
взыскать с тебя долг.

Вдруг душа монгола выпрямилась, взмахнула крыльями.

Твердым голосом сказал монгол:

— Да, я Раптан, честный монгол, старик. Я был богат.
Теперь я беден, как после стрижки овца.

— Что-о-о? — грозно протянул чиновник, — а это чье ста-
до?

— Это стадо хозяйское, русского купца. Поди, справься...
Вот тавро его, иди, смотри. Весь скот его. Я служу в пастухах.

Удивился чиновник, сухие губы зло кусает, очки сорвал,
опять надел, кашлянул и сердито повернулся так быстро,
что шелковая коса его больнохватила старого монгола по
лицу.

Потом чиновник бегал в лавку, бегал в дом к купцу
Неправедному.

И ничего не получил.

Купец на славу угостил его тремя щами, тремя кашами — рисовой кашей с маслом, рисовой кашей с миндальным молоком, рисовой кашей с черной ягодкой.

Тремя наливками поил самодельными, пахучими, прямо с погреба принесла сама хозяйка. Холодные наливки, а огоньком веселым окатили-обожгли китайское сердце. Китаец то плачет, то смеется. Ему жалко с русским купцом расстаться, уж очень хороший человек, жаль, жаль... Плачет китаец, разливается, очки уронил, подымать стал — упал, лопнули очки...

Купец с ним по-монгольски прекрасно говорит. Раптана ругает: «Мошенник!»—его, купца русского, тоже нагрел старый плут. Раптан выдал вексель на двести тысяч серебром, а в лавке его и на сто тысяч товару нет.

Говорит так, вексель китайцу в нос сует, а сам смешливо кричит по-русски жене:

— Ожарь-ка, Мавра, этой образине собачью ногу... Слопает...

Так ни с чем китаец и уехал. Даже собственных очков лишился...

Месяц прошел, другой прошел, прокатился год.

Купец все время твердит Раптану:

— Ты ему не верь: он караулит. Они, китайцы, хитрые. Подкараулит, да все и отберет... Еще надо помедлить. Пока паси мое стадо, а я буду торговать...

— Это, друг, мое стадо...

— Ну, ладно, там видно будет.

Но сыновья и внуки роптать начали:

— Иди, проси купца. Теперь ничего, опасности нет. Поблагодари нашего друга, успокой, пусть о нас не заботится...

Надел старик свой новый синий шелковый халат, большие круглые очки надел, взял две ценных вазы, еще ларчик взял из слоновой кости, золотом и серебром его наполнил. Сына своего старшего захватил с собой.

Пошли.

И опять почудилось старому монголу, что он идет через пропасть по тонкой скользкой жердочке, а все небо закрыла желтая туча, и будто гром рокошет: «Как дойдет Раптан до пропасти, гряну молнией и поражу».

Говорит монгол сыну:

— Ох, что-то мне неможется. Возьми меня под руку — упаду.

Кой-как пришли.

Старик отдышался и торжественно сказал купцу:

— Вот мы хотим благодарить нашего друга. Мы принесли тебе дары. Прими от нас наши дары, и да сохранил тебя бог со всем твоим домом.

И старик упал вместе с сыном купцу в ноги.

Принял купец дары, сказал:

— Спасибо...

Хозяйка унесла дары и заперла в кованый большущий сундук с тремя замками.

— Теперь, друг, позволь тебе напомнить о моем векселе. Ты забыл... Но это ничего, у тебя дел много, забыть легко. Вот мы просим тебя, верни...

Взвилась-вздыбилась купеческая мохнатая душа... Вылупил купец глаза, вобрал в грудь воздуха побольше и, ткнув в дверь пальцем, гаркнул:

— Вон!! Вон!! Все мое — и скот и лавка! Вексель я протестовал... Все мое!! Вон!!

Часто-часто замигал старый монгол, торопливо попятился от своего друга, что-то хотел крикнуть, но, видно, пришел конец, взмахнул руками и грохнулся. Умер старик.

Осиротели дети и внуки Раптана.

То тот, то другой из них заходил к купцу Неправедному. Он их в дом уже не пускал, разговоры вел на крыльце.

— Мы, друг, думаем, что ты пошутил... Мы, друг, разорились. Нам нечего есть... У нас жены, дети, у нас старая мать... Пожалей.

Но купец и не думал жалеть: сердце его твердое.

Искали они правды — нет правды нигде. В суд подали — нет в судах правды, консулу челом били — правды не нашли.

Последний край пришел: целой гурьбой, все до единого, ввалилось во двор семейство старика Раптана и подняло гам, как на отлете птицы: бабы воют, плачут ребята, мужчины стоят суровые и молча ждут.

Вышел купец.

Все зараз закричали:

— У тебя камень, а не сердце. У тебя змея в груди. Ограбил. Ограбил. Ограбил. Ограбил... Не уйдем отсюда... Убивай!..

Купеческое сердце растаяло:

— Ну вот что, ребяташки. Мне вас жалко. Я вам работу дам... Кто помоложе, пусть мои стада пасет, жалованье положу хорошее. А вы трое будете у меня вроде возчиков: мой товар в Русь повезете.

Долго монголы плакали.

А купец в благоденствии до седых волос дожил. Денег невпроворот у него. Дела идут хорошо.

Он иногда любил похвастать:

— У меня есть тридцать верблюдов. И ежели я все свои дела прикончу, все обменяю на серебро — дык мне на своих верблюдах этого серебра не вывезти в Русь, не упоместить... Вот как бог помог мне, царь небесный, батюшка.

IV. Живые мешки

Еще недавно город Кобдо китайским был. Китайцы большую торговлю вели с монголами, большие магазины имели в Кобдо. Русские тоже торговали.

И вот между китайскими и монгольскими купцами завязалась однажды жестокая распря, войнишка началась, — чего-то не поделили торгаши: монголы стали китайцев колотить, жечь и грабить китайские товары.

Тяжелое настало для китайских купцов время.

К русским друзьям своим, к русским купцам обратились за помощью: купите наши товары за бесценок. Укройте нас.

Русские возрадовались.

Кровь рекой течет по улицам, дым клубится, раздаются вопли, гремят выстрелы — ад сошел на землю.

А русским любо. Русский купец шире расправляет свой карман, черным вороном кричит, зорко высматривает падаль.

Как-то ночью, весь в слезах, весь в страхе, прибегает к русскому купцу китаец.

Пал перед ним на колени, у ног ползает, сапоги смазные целует и не может слова сказать, языка лишился.

Купец знает, в чем дело. Купец ласковый.

Это его друг, богатый китаец Чанбо, миллионщик.

Подымает его с полу, усаживает в кресло, воды принес, папироску предложил.

— Ты что, друг?

Как грянет на улице пушка, как привскочит до потолка китайский купец, миллионщик Чанбо.

— Ой, друг... Пожалуйста, пойдём ко мне. Тебе бог поможет. Спаси, умоляю...

— Идем, — сказал купец и тяжело вздохнул.

Добрый был. Китайцы и монголы уважали его. Истово на образа перекрестился, кркнул жене:

— Благословляй!

Молодая жена — в слезы.

— С нами бог,— сказал купец и быстро вышел с китайцем Чанбо на улицу.

Жена за ними:

— Степа! Не ходи... Пусть Чанбо у нас сидит...

— Пошла к ляду, дура!..— зло купец отвечает ей.— Торчи дома, карауль ребят... Нас не потрогают...

Чанбо по-русски немного понимает: възграла душа его, на купца, как на святого, смотрит, в ноги ему бух, опять смазные сапоги целовать начал, купчихе кричит:

— Бабушка, бабушка!.. Пасибо...

И оба побежали дальше.

Тьма была. Только справа стояло зарево от горевшей башни. Слышались отдельные выстрелы. Издали доносилось тысячеголосое галдение китайских солдат.

— Много ваших войск-то?— прошептал купец.

— Много,— тихо ответил китаец.

— А чья возьмет?

— Пожалуй, нас перережут...

Китаец тащил купца за рукав. Во тьме наткнулись они на что-то, и оба упали.

— Это наши убитые,— прошептал китаец, захныкал и запричитал. А купец перекрестился. Опять пошли. Звуки крепки. В воздухе пахло дымом, порохом.

Навстречу попалась целая стая собак. Они были; подлаивали, щелкали зубами, грызлись, невидимыми клубками катаясь по земле.

— Входи,— сказал китаец.

Они вошли в калитку глинобитной, выходившей на улицу стены. Фанза китайца, склады и лавки стояли в глубине огромного двора.

Вдруг китаец остановился. Остановился и купец. Замерли. Кто-то хрипит во тьме.

Китаец ухнул, завопил:

— Зарезали... Брата зарезали...

Но нет!.. Знакомый слышится зов:

— Чанбо! Чанбо!.. Иди скорей...

Бросился Чанбо своему юному брату на шею, а тот говорит цепенеющим от страха голосом:

— Двое врагов были. Мы с приказчиком отстреливались. Приказчика зарезали, ушли... Грозили вернуться. Я боюсь, Чанбо... Чу, как хрипит приказчик... Боюсь...

— Не бойся,— успокаивает купец,— при мне не имеют полного права тронуть...— Говорит так, а сам тоже не может зуб на зуб попасть.

Все трое вошли в фанзу. Огонь зажгли.

— Со мной не потрогают. Нам, русским, монголы заявили: кто боится — уходи за город. Кто не боится — сиди на месте: русским никакого худа не будет.

И не успел сказать, как шум на улице послышался, загалдели люди, близко где-то затрещали выстрелы.

— Идут!!

Заметались братья, не знают, что делать, куда укрыться.

— Полезайте на всякий случай в лавку, заройтесь в товар.

Но там одним китайцам страшно.

— Тогда айда в мешки! Мешки пустые есть?

— Есть.

Два больших мешка живо притащили, сели в них, купец прочно завязал каждый мешок и поставил в угол.

— Сидите смирно, скажу, что это мои мешки с верблюжьей шерстью. Только ни гугу. Не шевелись!..

А в сердце купца уже вступила соблазнительная алчность

«Нет, нет...» — зло отмахивался купец.

Рев все ближе. Рядом. Отдельные выкрики ясно слышатся.

Купец выбегает с фонарем на крыльцо.

— Эй, что надо?! — кричит ворвавшимся во двор монголам.

Тех много. Факелы в руках. Возбужденные, в зверей обратившиеся, пьяные кровью, бегут шумной ватагой к крыльцу.

— Что надо?! Стой!! — нарочно по-русски кричит купец.

Бегут к крыльцу, галдят, сверкают большими ножами, ружья наготове, дубины подняты.

— Ты русский? — крикнул один из них, подбежав вплотную.

— А ты не видишь? — по-монгольски строго говорит купец. Растаял в сердце страх.

— Не видим... Темно... Где Чанбо?

— Нету.

— Врешь!

— Нет, не вру!!! — сердится купец. — Товар не смей поджигать: мой товар. Все купил я!.. Русский!.. Я!!!

Остановились.

— А то казаков кликну своих. Русских! Солдат!

— Мы тебя не тронем. Товар твой не тронем... Мы китайцев режем... У нас война... Где Чанбо с братом?..

И хлынули в дом. Купец за ними.

«Убей...» — соблазняет купца алчность.

Купец молчит, тяжело дышит... Лоб холодным потом покрылся, замирает сердце.

Толпа по закоулкам в лавке шнырит, в сундуки заглядывает, а на мешки внимания не обращает.

«Убей, убей. Все твое будет»,— неотвязно мерещится купцу.

— Мое!..

Не то крик вырвался, не то зарницей мысль стегнула в ошалелой голове купца.

«Война все простит, все покроет...»

Черный свой голос, задыхаясь, подает купец:

— Чанбо нет, брата его нет. Слышите?!

Обомлевшие китайцы, едва дыша, богу молятся, русского друга прославляют и радуются последнюю своей страшной радостью.

— Слышите?! Чанбо нет, брата его нет: они далеко убежали...

А сам мигнул монголам и предал китайцев твердым жестом недрогнувшей руки.

Два кривых ножа сверкнули, два ножа кровью обогрились... Не стало братьев.

А купец?

Купец всю эту ночь, как ушли монголы, на верблюдах китайский товар к себе возил. Весь следующий день возил. Всю неделю возил.

Он молчал, ни с кем не говорил, только рукой указывал. Как кончил с товаром, пить стал.

V. Гнус

Был купец, по прозвищу Гнус.

Лицом курносый, борода лопатой, глаза яблоками, на лоб вылезли, наглые. Корпусом толст, голосом зычен: как гаркнет в поле — лошади шарахались в стороны.

А удаль в нем степная, дикая: скакать бы ему на бешеном коне по полю, глушить бы проезжих с товарами ямщиков, чиновников, купцов.

Да так оно и было.

Ведь черт его знает! Ведь горы золота нажил человек, а любил, бывало, пошалить темной ночью с лихими киргизами, друзьями своими, побарантачить. Видно, кровь в сердце кипучая была. Подобрал себе шайку отпетых и стал с ними по горам гулять. Удали через край в Гнусе, а скупость

сказочная. Несколько лавок у него. Весь округ должен ему.

Долги собирал он натурою: возьмет у калмыка телят двадцать за долг, за какие-нибудь двадцать кирпичей чаю, по рублю кирпич, да и скажет ему:

— Ты, друг, оставь телят-то у себя. Где их буду пасти, у меня земли нету.

Калмык пасет их год, и другой, и третий. А потерять или продать — не смеет: телята все купеческим, Гнуса, клеймом мечены.

На третий год посылает Гнус подручного и берет своих трехлетних быков.

А калмык по простоте душевной думает:

«Все верно, все так... Теленок был, бог растил — бык стал...»

Как-то монгол задолжал Гнусу целковый. Хорошую у него трубку купил. Монголу без трубки нельзя, как красавице без румян. Бедный, неимущий монгол.

Гнус сказал:

— Вернешь мне через год за целковый пять шкур сурка: процент на тебя накладываю.

Монгол с процентом очень хорошо знаком: монголы купцами обучены, процент вот где у них сидит, ради процента — чтоб его шайтан съел — все они и бедные, и живут по горло в долгах, в кабале вечной.

И случилось так, что у монгола не оказалось к концу года лишних шкур: на сторону продал, повинности справил, семью кормил в голодный год. Уплатил всего две шкуры.

На будущий год уплатишь мне две овцы и три шкуры. Процент накладываю.

Монгол отлично понимает, что такое процент, тяжело вздохнул монгол, но делать нечего.

Вот и второй год кончается. Дела еще хуже идут. Одну овцу притащил.

— Теперь ты будешь должен мне годовалого бычка и пять овец. Теперь все дорого, доставка дорогая. Большой процент накладываю.

До пяти быков дошло дело, до пяти верблюдов. А каждый верблюд сотню рублей стоит.

И век бы сидеть в неоплатных долгах монголу, да догадался, умер. Процент сгубил молодца.

А и всего-то трубку купил, вещь малую.

Но были случаи и почернее.

Лихие молодцы киргизы. Но и Гнус охулки на руку не положит.

Завел себе весь наряд киргизский: малахай бархатный с лисьей выпушкой сделал, чатпор березовый вырезал — такую палку, с корневищем на конце, трахнешь по голове — череп, как арбуз спелый, разлетается! А конь у Гнуса — черту брат: ветер нипочем ему: что ветер! — стрелу певучую обогнать может. Гнус атаманом стал.

И никто об этом не догадывался. Только ночь темная, да широкая степь, да горы знали. Да еще те, несчастные... Но те слова не вымолвят, немую жалобу с собой уносят в землю.

Надумал Гнус караван с серебром обогнуть: серебра в Монголию идет много, в слитках, серебро там ценится.

Издали начал выслеживать Гнус, за границу проводил в Монголию. Там степь, жилья нету, кричи сколько хочешь, плачь, умоляй — степь все выслушает скорбно, но защиты не даст.

Идет караван степью и не чувствует беды. А беда по пятам крадется, жметя у гор, серая, как серый щебень-курум.

Идет караван ходко, но и солнце не дремлет, книзу катится, вот-вот сядет на сизые хребты. Караван торопится: в степи воды мало, надо у речки ночевать, а до речки десять верст.

Как пал сумрак, говор речки послышался. И люди и лошади обрадовались: отдых.

Не успели еще коней выпрячь — вихрем налетела шайка... Арканы в ход пошли, руки ямщикам вязать начали, конвойных смяли, — много ли их, всего три человека. Один сопротивляться стал...

И быть бы злу великому, но кто-то помешал: то ли казаки из Кобдо в Кош-Агач почту везли, то ли знакомый купец ехал — гикнул Гнус, и вся его ватага умчалась в горы.

«Сорвалось, — сердито думает Гнус, губы себе в кровь искусал, коня взмылил и долго, ругаясь, грозил кулаком золотому огоньку, что робко замигал у речки.

Этим дело не кончилось. Начальство узнало, кликнуло клич:

— Ребята! Кто желает разбойников ловить? Кто хочет получить награду? Шаг вперед!

Выискалось двадцать пять казаков, двадцать пять отпеченых голов. Снарядились, поехали чуть свет в путь-дорогу с казацкой песней, с бубнами. Лихо кони мчат, лихо скачут: степь ровная, с гор прохладой веет.

К горам подъехали казаки, в балку заглянули — пусто,

в долину речки заглянули — нет следов, дальше поехали, песни не поются, смолкли бубны. Тихо едут, слова не проронят: как бы не спугнуть врага.

Вот и дню конец, а казаки еще и привала не делали, утомились, по сухарям соскучились; лошади похрамывают, корму просят.

Остановились на ночлег.

Гроза надвигалась. Сумрак наполнил, скрыл горы. Вдали безмолвно играла молния: вспыхнет там где-то за хребтами, потрепещет над вдруг всплывшими из мрака вершинами и тихо погаснет.

— Дождь будет, — сказали казаки и быстро палатки раскинули.

— Гроза идет, — сказали казаки, поужинали, чаю кирпичного напились и завалились спать.

Гроза надвигалась.

Две грозы надвигались на казаков. Светлая гроза, с молнией и ливнем. Черная гроза — Гнус, душа коварная.

Карауль, сторожевой казак, карауль!.. Черная гроза — опасная.

Сторожевой казак, Петр Байкалов, боится небесной грозы, его громом в детстве еще оглушило. Стоит Байкалов, молитву шепчет, винтовку дрожащей рукой поглаживает, собирается старшего будить. А старший злой: Байкалов и его боится, и грозы боится, не знает, как быть.

Гроза надвигается быстро, ветерок впереди нее идет, разметаёт степную дорогу, вольную. Байкалов к самой палатке подошел, а войти не смеет. На небо опасно смотрит, как бы оттуда стрелой гремучей не пустили. Небо огнем кроется, вздрагивает казак, крестится:

— Свят, свят, свят.

Гром глухо стучит и рассыпается по горам горохом.

Тьма. Ветер травой шуршит, ветер палатку треплет, стал накрапывать дождь.

Тьма густая, предательская. И ничего-то в ней не видеть, ничего-то в ней не слышать: лишь сухая трава шуршит.

Эй, смотри, казак!.. Как блеснет молния — смотри!

Товарищи храпят, пуще всех старший храпит и что-то во сне бормочет. И чувствует казак, две грозы идут; вторую, черную, сердцем чувствует, защемило сердце тоской...

Крестится казак:

— Господи, спаси... Чего-то чижало...

В небе молния золотой веревочкой с краю в край стегнула, засияла степь, гром ударил близко... Байкалов проворно залез в палатку и с головой шинелью закрылся.

Эх, казак, казак...

Шорохи по степи ползут, много шорохов...

То не дождь ли льет-поливает, не град ли барабанит по земле?

Нет, не дождь... Нет, не град...

Шорохи крепче, сильней. Это смерть по равнине хлещет.

Две грозы грянули враз над казаками. Гроза огненная грохотом все заполонила... А черная гроза с лешевым гиком и посвистом мертвой лавой пронеслась: три тысячи бешеных коней во весь опор проскакали по спящим казацким телам.

Одну слякоть оставил от казаков Гнус, душа звериная.

Далеко стегнула по Алтаю Чуя, священная река!.. Бурлит по крутому склону, вся седая, вся косматая, яро камни точит, грозит своим гневом человеку. Стой, Чуя, стой!.. Гляди — восход стал розовым... День идет, день идет, ночь кончилась... Еще немного — и твои волны запоют иные песни и будут сказывать новые были, светлые и радостные. Да не повторится прошлое, да не затмит оно грядущего дня. Эй, останови, Чуя, гнев свой, не точи яро камни... Милости, Чуя, священная река, больше милости!

ВАНЬКА ХЛЮСТ

I

Угрюмая, необъятная, страхи таящая в себе, тайга дремала.

Где-то, за далекой горой, еще блуждал луч солнца, а тьма уже проснулась в трущобах, подползла неслышно из берлог, распласталась по влажному седому мху, нетерпеливо дожидаясь, пока погаснут жемчужные облака. Тишина была чуткая такая, выжидающая.

«Гу-гу-у... Хо-хо-хо!»

Вздохнула тайга, насторожилась. Но меркли вверху облака, приподнималась тьма выше, баюкала тайгу и навевала ей сны. Дремала тайга. Еще не успели окрепнуть робкие и неуверенные огоньки звезд, а тайга до краев уж захлебнулась тьмою, хлынувшей к померкшим небесам.

Тайга заснула.

Кто-то ходит во тьме. Смеется тихо. Там, на пригорочке, большой костер горит. А возле него — двое.

Костер тихо потрескивает, языки пламени задорно и весело лижут тьму.

Дед Григорий — восемьдесят лет скоро — кряхтит у костра, греется: изнасилась с годами кровь, похолодела. Лицо у него грубое, с лохматой белой бородой, но в глазах блестит что-то такое хорошее, теплое — словно он открыл неведомые, простые и великие тайны. Хмурит густые брови, а на устах радость. В глазах небеса, а душа все еще по земле ползает.

Говорит дед медленно, густым и хриплым голосом, и в его рассказе всегда смешок слышится — старик веселый.

Еще у костра, притулившись к деду, сидит внук его — хороший, лет шести паренек Тимша.

Да еще две собачки: Жучка с Верным. Жучка молоденькая, как смола черная, юлит возле Верного. Верный лежит смиренно, морду на лапы положил и умными глазами смотрит в лицо деда. Когда дед весел, и пес весел, но чуть затоскует старик, вздохнет и Верный.

Тимша с белыми, в скобу подрубленными волосами, остроносый, с живыми серыми глазами, и когда смеется, глаза превращаются в узенькие шелки с лучистыми, как у старика, морщинками. На вид он щупленький, бледный. Сидит съжившись, посматривая на деда, чего-то ждет. Тот гладит его большой корявой лапой по шапке и ласково говорит:

— Ох, и лютой же ты, Тимша, сказки слушать...

Мальчонка ерзает радостно и настораживается.

— А ты, дедушка, ну-ка скажи, слышь, про тигру-то...

— Хе-хе... Эвона чо... Ну — ладно, коли так...

Дед толкает в костер смоляной пень, огонь жадно набрасывается на новую пищу и стрижет ее неугомонно острыми ножами своих языков.

— Дык про тигру?.. Ладно-о-о...

Дед много знает забавных рассказов, ласково-грубых, потажному красивых: весь свой век в тайге прожил, но сейчас нарочно медлит, посматривая сыскаса на внука, а тот весь нетерпением пышет, как струна вытянулся слухом, ждет...

— Забежала раз к нам тигра из Монголии. Это лет с пятьдесят тому, как не боле. Три волости, парнище, сбили, чтобы, значит, препону ей положить. Вот ладно. Окружили мы ее, черта, а она промеж нас так вот и сигат, так вот тебе и сигат...

— Сигат?

— У-у-у... Как молынья. Одному по рыле хвостом съездила, сразу салазки на сторону своротила... Вот, брат, кака силища... Зверюга самая душевредная...

Тимша слушает разиня рот и вытаращив глаза от удивления, а дед улыбается и хриплым басом говорит дальше.

И когда дед, увлекаясь, хватает через край, испуганное лицо Тимши вдруг покрывается смехом, и он, фыркая в рукав, машет на деда рукой и вскрикивает:

— Ври-ка больше!..

Тогда дед на полуслове смолкает, зло смотрит на внука, а потом нахлобучивает ему проворно по самые уши шапку, и оба враз заливаются смехом...

В темноте, направо, то всхлипывая, то пересмехая кого-то, гуторит тихо таежная речка: хоть поздно,— давно спустился с неба сумрак,— а сон не берет ее...

И вдруг там раздалась песня... Высокий голос, весь тоска и слезы, жаловался на что-то звездам, укорял кого-то... Это Ванька Хлюст, бродяга, что вчера пристал к деду, как затерявшаяся собачонка.

Послышался хруст валежника, шорох ветвей все ближе да ближе: то Ванька Хлюст продирается сквозь заросль тайги. Вот вынырнул: не идет, а скачет торопливо, подпираясь толстым батоном. Свет костра хлынул ему навстречу, и в трепетных лучах видно было, как Ванька, прискакивая, волочит правую ногу...

— Ну, паря, и мастерина же ты песни петь,— сказал Григорий,— за самое ты меня сердце взял...

— Это мы можем,— откликнулся Ванька, шуря от света глаза, и подал деду котелок:— Настораживай-ка, благословясь, к огоньку: щерба знаменитая должна выйти...

Лицо у бродяги большое, корявое, ни усов, ни бороды нет, доброе, а из серых печальных глаз вдруг веселье брызнет, удаль какая-то. Расцветет ненадолго улыбка и завянет; огоньки лукавые заиграют в глазах, смехом заискрятся, но грусть вмиг погасит и докроет лицо кручиной.

— Ну, калека ты моя, калека божия... садись-ка вот тут. Умаялся поди, сердешный?..— участливо говорит старик.

Жучка вскочила, ластится; Верный подошел — обнюхал, и, решив, что человек надежный, лег.

Ноги у Ваньки культяпые, сухие, в бродни обуты. Эх, и руки же у парня — беспальные, только на правой большой палец торчит, да и тот без ногтя. Левая рука в локте перевязана грязной тряпицей и веревками обмотана.

— Ну, што, не легче руке-то?— спросил дед.

Ванька глядит на него,— лицо печальное,— и нехотя говорит:

— Да што... ишь отгнила совсем. Разве это рука... Одно звание, что рука, мешает только, одна видимость. Весь

сустав в локтю порешился, все головой погнило... На одних жилах да вот еще на веревках держится. Вот размотаю сбрую-то да как шаркну по дереву — и отлетит к чертовой матери... Ох, горе-горе...

Ванька одернул свою синюю, с белыми разводами, рубаху и почесал культияпкой длинную худую шею.

— Лет пять вот так... В Смоленском селе лег в больницу — там доктор пальцы резал мне, девять штук напрочь откатил, не усыплял, ничего... Режет, а я смотрю... «Ну и крепко, говорит, крестник,— крестником меня своим назвал,— терпленья, говорит, в тебе множество». — «Отнимите, говорю, и руку-то заодно». — «Нет, говорит, рука пройдет, лежи». Лежал я, лежал, а раночка-то вся шилом чкнуть. Потом доктор говорит: «Ну, брат, крестник, рука твоя так что неизлечима... Шабаш, брат...» Я опять: «Отрежьте, Христа ради». — «Не могу, перация трудная... Катай, как не то, в город...» Ха-ха... В го-о-род... Да нешто у нас, в тайге, до городу-то доскачешь? Чу-у-дак человек. В город!.. Пошел я прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву: матушка — напитай, матушка — укрой!.. Не выдавай, тайга-кормилица, круглую сироту Хлюста Ваньку! Говорю так, а слезы ручьем-ручьем; торнул носом в мох, лежу, вою... И словно бы кто шепнул мне ласково, быдто приголубил меня. Не вижу, дедушка, а чувствую, стоит возле меня кто-то, утешает,— и башку от земли отодрать не смею. Слышу только, как в грудях радость ходуном заходила, быдто вода весной. Засиял я весь, приподнялся... Гляжу: бурундучишка стоит у кедра на задних лапках, смотрит на меня глазенками, а сам посвистывает. Захохотал я тут радостно, грожу ему: ах ты такой-сякой, бурундучок ты этакий милый мой... А он смотрит на меня бисером да знай посвистывает... Э-эх!.. И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ничего земного прочего...

— А красно же говоришь ты, Ванюха...

— Ах, дедушка, дедушка... Ведь башка-то у меня умная, вот только досталась-то она дураку,— хы-ы... В тайге, брат, всему научишься...

— Нау-учишься...— недоверчиво кряхтит Григорий.— Где тут научишься-то, с кем?.. С медведем рази?

— И с ним... Я, отец, ране-то так жил: вот забреду на займку какую, выпрошу хлеба, Христа ради, да чайку и айда... Заберешься куда-нибудь в отдаленье, на речонку и живешь там, как воевода: морды плетешь для рыбы, песни поешь. А черт ли?

Мне ране-то весело жилось, ни о чем не думалось... И разговоры разговариваешь в тайге с кем придется: че-

ловека встретишь — с человеком, белка на сучке сидит — с ней... Нет никого — с деревом: и дерево, брат, выслушать да понять может. А то с тучкой либо с месяцем. Орешь ему: эй, месяц-батюшка! Вскочишь, подопрешься костылем, машешь рукой да орешь.

Замолк Ванька, и опять тихо стало. Только костер гуторил да над прогалиной, трепетно и робко мерцаая, звезды караулили ночь. К ним, к звездам далеким, вспорхнул Ванька мыслью.

Но дед тут же стащил его на землю:

— А ты бы, паря, шел к нам на заимку, тебе бы бабка руку-то попользовала... Ох и знатец старуха... Мало ли есть каких средствиев. Эвона со мной случай какой произошел, слушай-ка. Была одна красивая-раскрасивая девка, постоянный двор на приисках содерживала, только одна нога деревянная... С деревяшкой, а вольная была. Пришли как-то, враз угадали, три мужа — ейные дружки, значит. Она видит, что с тремя-то не рассчитаться, шасть в сенцы, а там на полке стряхнин стоял, волков травить, она возьми да и выпей. А я в те поры парнем был, работником жил у ней. Слышим, что-то схлопало... Прибежали, вот так раз! Лежит девка, хрипит, почернела и деревяшкой вертит.

— Вертит?

— Верти-и-ит... Страсти...

— Ха!.. Лловко,— хмуро вставил Ванька.

— Ну, ладно... А тут у нас на шестке масло разогретое коровье было, мы ей и вбьякали. Рот-от расщеперили да огромный ключище меж зубов от кладовой вставили да и лили масло-то. Польем-польем, да подыдем на дыбы, да встряхнем... А потом на доску положили деваху-то да в горячую печь и вбухали. И что б ты думал? Ведь ожила, шельма, оклемалась... Вишь, какие средства оказались... Вот оно што... А руку и по давню наладить можно... Кого тут!

Дед крякнул и исподлобья посмотрел на Ваньку.

— А и веселый же ты, дай бог, дед, ласковый...

— Хо-хо... Я-то?.. Я, брат, ничего, мастак на эти штуки...

Артельный человек... Бывало, чего-нинабудь сколоколишь смешное, вот и смех... А где смех, там греха меньше, злобы... А вот еще со мной случай был, почище стряхнину... В аптеке я служил сторожем да заместо микстуры — просто попробовать хотел, побаловаться: сладкие другой раз бьют — взял да, не разобравши дела, серной кислоты ложку и царापнул... Дык у меня — хошь верь, хошь нет,— вот тебе Христос, вот... как у окаянного, изо рта и из носу дым повалил!..

Ванька ухмыльнулся, заерзал по земле и звонким голосом сказал:

— Ну и развеселый же у тебя, дед, характер...

II

Дед топчется у костра, хворост в огонь подбрасывает, котелок с ухой настаживает и думает: вот его, старика древнего, третьеводнись послал сын на соседнюю заимку, верст за пятьдесят, — что бы самому слетать, так нет! — просил коновала добыть для жеребчика. Тимшу взял, все повадней. Сели в лодочку да благословясь и поплыли. А вечер, солнышко уж за лес падало — в тайге дни короткие, — глядь-поглядь: человек на берегу сидит, да таково ли жалобно поет песни, и дымок возле него вьется... Подъехали. Кто таков? Человек... Вижу, что не полено... Откедова? Бродяжка, Ванька Хлюст... Возьми, говорит, дедушка, ради господина... По народу, по слову человечьему я затосковался. Суетится дед у костра, думает, любовно поглядывает на бродяжку и говорит:

— Расскажи-ка, брат, сделай милость, как ты, не в огорченье будь сказано, изувечился-то?..

Ванька медлил. Он снял шапку, с ожесточением единственным пальцем поскреб кудрявую голову и, вздохнув, поглядел на деда измученными глазами.

— Так сказывать?

— Сыпь, пока уха преет... — ответил тот.

— Поморозился я лет пять тому, а всего мне будет без трех годов тридцать... Расскажу я тебе, дедушка родимый, всю жизнь. Не затоскуй только — жизнь моя не веселая...

Ванька сел поудобнее, тихо кашлянул и тихо начал:

— Родился я от своих родителей: от девки да от солдата. Мамыньку сердешную схоронил ноне, а батька жив. Ну, ладно. Рос я не как все другие прочие, законные которые, а так... Сам знаешь: прибудыш, так оно прибудыш и есть, как баран шелудивый... Ну и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать... Первеющим пакостником меня считали, по всей округе наслыхах был. Одно слово — Ванька Хлюст! Стекла ли попу высадить, дубиной ли кого из-за угла огреть — это я... Подрастать зачал, девок стал забижать, и не то чтобы пакостно, а так, для антиресу больше: зубы стиснешь, налетишь, раз по уху! а сам заливаешься, хохочешь, словно тебе в душу-то мохнатый с хвостиком залез... И никакой во мне жалости не было к человеку... Пуще же всех ненавидел я батьку... Ох и зверь, и аспид родитель-то мой, прямо рестант...

У Ваньки в глазах огоньки замелькали, а голос трещину дал:

— Ведь он, идол, в гроб вогнал мамыньку-то... А что мне выволочек было, мордобою этого самого, не есть числа: он и голодом-то меня морил, и на мороз-то в одной рубашонке выкидывал... Вот, погляди-кось, башка-то у меня проломана местах в трех... А мамынька-то... А мамынька...

Ванька отвернулся от деда, засопел, в землю уставился, шепчет:

— Покойна твоя головушка... Привечный тебе покой. Руку занес, перекреститься хотел.

— Вот ишь... Ну, чем я крест положу? Кулаком, что ли? Культияпкой?

— Ему, батюшке, все единственно,— заметил дед,— хошь рукой, хошь ногой... Была бы душа настоящая...

— Душа?!— вскрикнул Ванька,— вот то-то и дело, что душа...

Тимша с собаками у костра возился: все трое катались клубком по земле. Тимша, лежа на животе, по-собачьи взлаивал, а Жучка с Верным притворно урчали и, наседая на Тимшу, старательно теребили надетую на нем мамкину кофту.

— Ну, дык чо дале-то?— обратился Григорий к Ваньке.— Карахтер-то у тебя, это верно, с загогулиной...

— Карахтер-то?.. Не озлобляй!.. Я человек не злой, я нраву веселого: ишь — ни рук, ни ног, а сердце-то у меня ласковое... Да-а.

Ванька задумался. Но вдруг на лице затеплилась радость, улыбнулся бродяга, подбодрился:

— А гармонь у меня была первый сорт; мамынька, дай бог, сгношила, да сам в пастухах жил, сколотил деньжонок, и песенник был отменный.

Ванька окреп голосом:

— И так я, дед, на этой самой гармонии играл, что ах! Идешь, бывало, по улке с ребятами, о празднике, да как выиграешь на всех переборах — эх ты но... Дуй, не стой!.. Дык не то что девки али бабы молодые — старухи-то и те изза печек, как тараканы, выползут да к окнам прильнут, чтоб Ваньку Хлюста перед смерточкой напоследях послушать... Вот как! Не веришь? Ей-бог... Господин барин как-то был у нас из Питера, анжинер, значит, насчет приисков приезжал, разведку делать... Хошь, говорит, Иван, в столицу? Знатнеющий музыкант, говорит, из тебя должен выйти... Подучить, говорит, тебя мало-мало... Пальцы-то золо-

тые, говорит, у тебя... Цены нет твоим пальцам-то... Эхо-хо-о...

— Ну, так вот,— сказал, чуть помолчав, Ванька,— так оно и шло колесом, покедова не вырос, а как стал парнем, поступил я, отец, в ямщики на трахт... Бывало, как выедешь в ночку летнюю да как гаркнешь: «Соколики, грабят!..»— вот и рванут — рванут тады лошаденки, дорога лугом, что ска-терть гладкая: несешься — в ушах ветер поет, ничим-чего тебе не видно, словно валишься в пропасть какую... На звезды взглянешь, а они за тобой следом катятся... И была там у меня на селе зазноба, кабатчика нашего дочка — Дунюшка...

Ванька насупился, вздохнул и, ковыряя костылем землю, прошептал:

— Нет, лучше уж не ворошить... Чего тут...

Дед крикнул, боднул лохматой головой и сказал, пристально поглядев на бродягу:

— Не ты ль, Ванюха, в прошлом году у Петрована Безде-нежных на заимке жил? Всю зиму быдто бы?

— Я... А что?

— Да так... Сказывал Петрован: чевой-то скучал ты шибко...—и, не дождавшись ответа, добавил:— Это, брат, плохо, соколик, ежели скучать... Укрепиться надо... Мало ль чего в жисти случается... Ну, это я так, промежду прочим... Сыпь да не то, как лапы-то ознобил, сказывай...

— А это, вишь ли, каким манером дело-то вышло. После покрова вскорости — ни зима, ни осень, а так, середка на половине, хозяин мой, ямщину содерживал,— из дому отлу-чился в город, один я остался. Вот ладно... Только что я при-ехал с трахту, заколел, как анафема, сижу, отогреваюсь в хо-мутецкой на печке — ночь темная и буран зачинается, а теп-льнь стоит. Вдруг из земской сотский прибегает: «Живо, грит, лошадей: лешак попа принес... Поп орет, ямщика к себе тре-бует... Да поп-от не один, слышь, а с бабой какой-то». А я знал, что у попа чередовского синпатия есть, родня не родня, а так, сбоку припека, пришей кобыле хвост — можно ска-зать... Ну ладно... Хошь не хочется идти, а куда деваться,— пошел... В броднях грязных прямо вверх лезу... А мне что?! Еще докладаться да внизу ждать?... Наплевать можно, с му-жика спрос короток: пру прямо вверх... Вошел в горницу, по-молился. Поп один сидит, здоровенный, красный, сурьезный, знакомый поп... Народ, признаться, не шибко же его долюб-ливал, не уважал... Крутой поп был, карахтерный, да и драл с живого-мертвого просто ужаста как...

— У попа жисть хороша,— перебил дед,— помрет — не уйдет, и родится — годится. Хе...

— Это самое...— ухмыльнулся Ванька.— Ну, дык вот... Перекрестился это я наотмашь. «Здравия желаю, говорю, батюшка».—«Лошадей».— «Никак невозможно»,— говорю. «Ах ты сукин сын».—«Никак нет, батюшка,— отвечаю вдругорядь,— я ваш сын, а не сукин, потому как вы наш отец духовный... Ежели, говорю, отец духовный такой вопрос обозначает, то чего ж родному-то отцу остается делать? Одно: взять оглоблю да оглоблей-то по темю». Слово за слово, ну, только што он меня козырнул словом одним удивительным, вижу, дело плохо, говорю ему: «Ежели, говорю, усердие в вас такое есть, чтобы ехать, то я коней сготовлю, но без обиняков вам скажу, загинуть в пути можем за милую душу».—«Не твое дело!»—«Ну, в таком разе, я живчиком... Позвольте вас с папиросочкой поздравить». Обмяк поп, дал папиросочку, улыбается. Ладно... Пригнал я лошадей, самых отчаянных, тройку... Выходит поп в шубе енотовой, кушаком весь запоясан, от горла да вокруг пузы,— ну, а у меня, сам знаешь, шебур мужичий трижды через нитку проклят, через две — окаянный, да верхонки¹ мокрые — вот и вся амуниция...

— Кругом шестнадцать,— вставил, крикнув, дед.

— Хы-ы... Вроде этого... «Отойди-кось к сторонке»,— поп от говорит... Отошел я, а сам глазом этак покашиваюсь. Гляжу: поп госпожу на дно положил в кошевку, сам лег, кочмой накрылись. «Готово, кричит, садись ящик!» Поблагословился про себя, сел. Поехали... Ветерок дул маленький, помню, утих буран-то, а выехали за деревню, ветер крепчать зачал, и буран стал опять разгуливаться. Верст пять отбежали — вдруг буран кэ-эк ахнет! Как застонет все кругом. Ну, думаю, плохо мое дело. А со мной на облучке еще мужичок увязался, попечитель школы одной сельской. Тоже навроде меня одет — рыбий мех, бобровый верх,— сидим, трясемся оба. Что делать? А буран все пуше да пуше. Словно молоком все залито, у коней,— скажи на милость,— даже голов не видно. Снегом им все глаза залепило, они и стали. «Нн-у!..» Стоят... «Малютки, грабят!» Кэ-эк шарахнет тройка!.. Я вверх ногам, попечитель вверх ногам — бух на попа с попадьей оба, корячимся в кошевке, тпрукаем: я тпрукаю, попечитель тпрукает. А поп выставил из-под кочмы бороду да как начал меня козырять всячески. А я ему на опакишь... Он мне слово, я ему десять. Потому осерчал... Кони несут, дорога ухабная, одначе я уцепился пластом, к облучку царапаюсь, а попечителя, как куль с мукой, на ухабах подбрасывает: то на голову одыбит, то пятки к бороде подворотит... Смехи... А буранище так вот

¹ Верхонки — кожаные рукавицы.

и крутит, прямо с огня рвет, по роже снегом, как бичом, хлещет, насквозь прохватывает, аж дышать нечем... Глядим — огонек. Мы туда целиной поехали было. Пропал огонь, точно его кто слопал... Ах ты господи! Ровно бы и жилью-то тут быть не надо. Сбились мы совсем с дороги... А буран так разбушевался, что надо бы пуше, да некуда, ревя ревет все кругом на разные лады. Жуть... Зачали мы с попечителем дорогу искать: привяжешь вожжи к саням да по вожже-то и ходишь во все стороны... А то, чего доброго, отойдешь сажень на десять да и к лошадям не вернешься. Кружились, кружились — нет дороги... «Батюшка, а мы с дороги-то сбились...»—«А ты ищи... ишь ты».—«Сам поди-ко поищи: ты в енотке, а я вместо тебя под кочму-то прилягу...»

— Под кочму?.. Ххе...— подмигнул Ваньке дед.

— Дык как же?.. Знамо... Ну, ладно. Как обозначил я это, поп и замолчал. А тут, братец ты мой, стало пристывать, морозом здорово прихватывать зачало. Ну, думаем, карачун пришел, терпенья нашего не стало... Глядим — стог... Мы туда. Отгребли кой-как снег, сено маленько разрыли, сели за ветром. А буранище так вот и садит, знат надвигат, того гляди стог опрокинет. Я присел на корточки, замаялся... Сколь просидел так, не знаю. Гляжу: месяц восходит из-за леса, и звезды в небушке загорелись. Потом, на вот те... вдруг соловьи защелкали и таким быдто теплом повеяло от кустов зеленых да от поля. Что за притча?.. Встал, оглянулся — верно: ночка летняя, соловьи поют, свежим сеном пахнет... А буран-то где?.. А поп-то где?.. Стою, улыбаюсь... Глядь-поглядь: Дуня по лугу идет, и месяц ей по дороге светит. Кричу: «Дунюшка, желанная, ягодка моя бордовая, здесь я! Иди-ко, что скажу тебе, слушай-ко, што мне приснилось-то: я быдто попа, быдто попа, быдто попа...» Не могу от радости выговорить, да хоть ты што хошь. А она, и словно бы не она, а чужая — смеется издали, машет рученькой правой да кричит милым голосом: «Вставай-ка, вставай — скорей, эй, ямщик...» И чувствую: хлоп мне кто-то по плечу: «Эй, ямщик, ехать надо...» Открыл глаза: поп стоит, лицо злое... «Ты что, заснул? Поедем-ка, ишь буран-то кончился и огоньки видать: должно, Пазухино...» Гляжу; огоньки видать, и впрямь Пазухино село... А шебур-то мой кол колом на морозе, да и портки к ногам примерзли, аж с кожей отодрал, руки ноют, зашлись совсем, верхонки как железные — позамерзли... А от попа, чтоб его язвило, пар валит, рыло красное...

— Буран, слава богу, призатих, а я чувствий порешился, ничего не чувствую. Уж не помню, как и до деревни докати-

ли... А пальцы у меня быдто палки сделались, стучат, обмерзли. Я на печку, попечитель на печку сдуру-то... Слышу: поп хозяина кличет, за водкой его посылает. Вот ладно, принесли живчиком водку. Поп стакан себе, другой мне: «Эй, ямщик, пей...» Поблагословился, выпил. Он вдругорядь: стакан себе, стакан мне: «Пей еще». Выпил... Партоманет вынимает: «Вот тебе прогоны, а вот тебе еще два целковых, потому как ты пострадал...»—«Покорно, мол, благодарим и на этом, два рубля на чай деньги не малые, ну только что вы, батюшка, полжисти у меня отняли... Дай бог вам».—«Ничего, говорит, чадо, поправишься...» А попечитель на печке сидит, дрожит весь, его не попотчевал поп-то... Вино мне в голову вдарило, вышел я как очумелый, руки словно в кипятке поют, быдто ножом от костей мясо сострагивают... Я хозяину рубль — тащи водки — уж очинно попечителя сделалось жалко, — подал попечителю, подал хозяину, сам выпил, потому терпленья нет... Опосля того свалился, не помню чего и было... Попечитель через четыре дня богу душу отдал, а я вот вишь как обсовершенствовался... Вот те и Ванька Хлюст! Вот те и золотые пальчики... Вот так и маюсь, отец, всю жисть свою...

— Чего поделаешь, сударик... — откликнулся душевным голосом дед, — попала в колесо собака — пищит, да бежит. Так и человека жисть ущемить может, ежели. Ау, брат... От што...

Ванька вскинул на деда глаза:

— Чегой-то раздумье долеть меня начало... Сон от меня по ночам прочь бежит. Ворочаешься, ворочаешься ночью, словно медведь, с боку на бок, потом сядешь да и думаешь... А о чем, спрашивается? О жисти да о Дунюшке... Обо всем, вобще, думаешь.

И, вздохнув, добавил:

— Жисть — штука великая, дедушка...

— Да, не малая, паренек.

— Она кому всласть, а другой от нее окарачь ползет...

Пришел я как-то к попу, уж когда по миру ходить, бродяжить зачал. «Здравия желаю, батюшка!»—«Ты кто таков?»—«А вот, смотрите, — сам руки искалеченные показываю, — признали?»—«Нет».—«А помните буран-то? Окажите такую божескую милость, приделите меня хоть в пономари...» Повернулся поп в сердцах, вышел в другую горницу, три пятака медных вынес: «На!..»—«Да что вы, батюшка... Да на вас креста нет».—«Проваливай, проваливай со Христом... А то живо работника крикну... Эй, Яфим!..» Я тут так слезами и захлебнулся. Ну, ловко он меня... поприветствовал... Дай

бог... Это за что ж, дедушка? В сердцах-то за что? Не он ли виноват в убожестве-то моем?.. А?.. Как же так не пожалеть калеку? Разве не такой же я есть человек, а?.. Разве не из одного теста?

— Из одного дерева, брат Ванька, бывают лопаты и иконы. На иконы богу молятся, а лопатой дерьмо гребут... Так, милай, и люди, бывают разной выделки... От што... Они, брат, хозяевы в жизни, а мы что? Так, слякоть...

— Дык рази в том есть правда? Ну-ка, скажи.

— Правда-то на небе, Ванька... А, сказывают, семь верст до небес, да и те кочевурами... От што... Стало быть, такой придел положен, чтобы по земле ползать. Отползал свое — ложись, умирай.

— Приде-е-л?— насмешливо протянул бродяга и вдруг взвился:— А ежели я не жалаю придела-то?! Что мне придел? Я сам себе придел! Вот те и придел. Вот захочу, останусь, захочу — торнусь в омут, и крышка... Ха! придел!..

Дед уставился на бродягу, подумал минуту, ответил:

— От жисти, брат, не уйдешь, Ванька: все равно поймает.

Ванька задумался, ничего не ответил деду... И погрезилось вдруг Ваньке, что тайга все знает и чувствует, на все может дать совет мудрый, только выслушай ее, только сумей угадать, что она шепчет.

— Ну, а Дунька-то как же, Дунька-то?— громко спросил дед.

— Что?..— встрепенулся бродяга и лениво перевел на деда все еще затуманенные глаза.

— Дунька-то, говорю, любушка-то твоя?

— Ох, и не спрашивай...— упавшим голосом сказал Ванька.— Еще в больнице лежал, слышно было, что девка того гляди ума тряхнется. А как пришел я, беспалый-то, да с костылем-то, да как увидела она меня, аж обмерла вся — на шею друг дружке бросились да и завыли вряд страшным голосом... «Сиротиночка ты моя, говорит, сиротиночка...» А потом за нее жених стал свататься...

И Ванька едва слышно добавил:

— А она головой да в прорубь...

Хоть тихо сказал Ванька, а ему опять померещилось, что тайга учуяла и отозвалась таким же шепотом: «головой да в прорубь...» и на речке кто-то откликнулся.

— Чу!— испугался Ванька.— Слышишь, дед?

— Ничего не слышу. Ты што это?

Бродяга встал на четвереньки, прислушался, и быстро поднявшись, закултыхал к речке, подпираясь батоном.

— Эй, куда?— крикнул ему вдогонку Григорий.

Жучка в обнимку с Тимшей спит у костра, дрыгает ногами и жалобно повизгивает,— сон, надо быть, видит. Дед ласково гладит пса и сам с собой тихо рассуждает:

— Нет, чевой-то неладное с ним, с Ванюхой-то. Пра-а-во... Шибко тоскует.

III

Дед подымается, кряхтит, растирает затекшую спину и, сгорбившись, тянется к котелку:

— А, мотри, упрела уха-то.— И не своим, бабьим голосом, ухмыляясь, монотонно бубнит, как в дудку дудит:

Табашники к табаку-у-у,
Пьяницы к кабаку-у-у,
Обжоры к у-у-ужину!..

Потом, вместе с проснувшимся внуком, торопливо усаживается возле котелка.

Вскоре на зов приходит и Ванька. Лицо бродяги спокойно, но что-то таится в глубине его усталых глаз.

Дед вытащил из мешка деревянную обмызганную ложку и, все тем же смешливым голосом, весело подмигнув Ваньке, сказал:

— Люди за хлеб, а я разве ослеп? Ну-ка-а раз! А ты что, Тимша, зеваешь? Имай рыбу-то... первый сорт мясо: от хвоста грудинка...

От ухи валит пар. Старик ест так, что за ушами пищит. Челюсти его работают сосредоточенно и жадно. Тимша чавкает, то и дело утирая нос рукой и чему-то радостно улыбаясь. А Ванька ест вяло, нехотя, печальный такой сидит, пасмурный.

Дед, зорко покосившись на бродягу, вдруг заулыбался, положил, не торопясь, ложку, пощупал мешок, вытащил бутылку и, подняв ее выше головы, весело прохрипел:

— Ну-ка, братья, зелено,— не прокисло бы оно... Самосядочки хошь, Ванька? Хоррошая штука. У нас, в тайге, старухи ее из хлеба сидят... Знаешь поди?.. На-ка, благословись стакашком...

Тот, очнувшись и вскинув на деда белые свои брови, сглотнул жадно слюну:

— Благодарим, дедушка Григорий. Мы не пьем...

— Ты кому другому это скажи,— смеясь, кричит дед.— Не пьешь... Нешто не вижу я, как кадык-от у тебя заползал. Пей, тебе говорят!..

Ванька смущенно скребет за ухом и, круто передернув плечами, тянется дрожащими беспальными руками к самодельному берестяному стакашку:

— Ну, за ласку твою, отец! Пригрел меня, сиротину.

— Во здравие,— откликается дед.

Ванька чамкает губами, сердито сплевывает, крутит головой и говорит:

— Ух, анафема! Штука лукавая... Ране, бывало, я, действительно, завей горе веревочкой, водку эту самую довольно сурьезно сосал. Ну только теперича — амины!..

Костер ярко пылал, тьма по сторонам клубилась, а вековые кедровые — богатыри таежные — гурьбой обступили костер и, хмурясь, протягивали лапы свои к теплу и свету.

Уха подходит к концу. Дед всех удалей из котелка черпает и балагурит, стараясь распотешить компанию. Тимша смеется во все звонкое горло, то и дело расплескивая из ложки уху, но Ванька грустен.

Псы нетерпеливо топчутся, повизгивают и просительно гавкают тонкими благопристойными голосами, а дед, чавкая беззубым ртом рыбу и вкусно обсасывая кости, небылницы рассказывает:

— И как лег это, значит, я не поблагословившись, не успел еще и заснуть-то путем, глядь: чертенок, будь он проклят, скок на меня.

— Всамделишный?.. Большущий?..— широко открыв глаза, спрашивает Тимша.

— Да как тебе сказать, не соврать: вершков этак пять, не болес. Я его кэк сгреб в кулак, так всего, окаянного, и зажал. Только рога одни поверх кулака торчат да темя видать... Вот ладно... И стал я кругом шарить, а сам думаю, как бы его, собаку, ошарашить по маковке-то чем бог послал...

Босоногий Тимша, пыхтя и по-стариковски побрякивая, укрылся шубой, циркал сквозь зубы в огонь и облизывался на пекшиеся в золе кедровые шишки.

Вдруг Ванька, перевалившись на бок, подполз к бутылке:

— Дед, а дед... Можно, ежели?..

— Сыпь, сыпь...

Ванька облапил бутылку, задрал вверх кудрявую голову и жадными глотками выпил все вино. Глаза его блестели задором, а лицо сделалось бледным и злым.

Дед на Ваньку уставился с любопытством, улыбнуться хотел — улыбки не было.

Ванька про себя всхлипнул, покрутил удрученно головой и, свирепо погрозив тьме, стал, ругаясь, выкрикивать:

— Эвона, моклышки-то, видишь, старик? А полено-то видишь?.. — ткнул он в мертвую руку. — Ха-ха! Понимай, брат. Чувствуй!.. А ни-и-чего-о... Слава богу, не жалуемся, живем богато: дом о семи жердях с подъездом!

Дед не спускал с Ваньки удивленных глаз, костер опрavlять начал. А Ванька, проворно поднявшись, посовался носом и, ненавистно тыкая в небо обезображенной рукой, взревел:

— Проклятые!! Мучители!! Утух-вы!! Бог-то где же?!

Дед от неожиданности чуть котелок с чаем не опрокинул, вздрогнул, выпрямился:

— Ванька, опомнись!.. Ванька, одумайся!..

Бродяга сразу смолк, словно грудь надорвал, и, еле переводя дух, угловато опустился на землю.

К нему Верный подошел, смотрит в глаза, ластится. Обнюхал уродливые руки и стал ласково лизать.

Ванька тяжело вздохнул.

— Скажи мне по чистой совести, как перед истинным, скажи мне, дед, веришь ты богу, в правду-матушку веруешь? — заговорил бродяга срывающимся голосом.

Поскреб дед в раздумье голову и, бросая в огонь валежник, не спеша ответил:

— Алтайцы — богу не молятся, у них дворы скотом ломаются. А наш русак, хоша просит вышнего, кола нет лишнего: кругом бегом... Это у нас в тайге така присказка. И я тебе, сударик, вот что скажу: бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую. Понял?.. Вот что, милай-а-й...

Ванька мигает часто, молчит, потом медленно, точно сам с собой, говорит:

— Ну ладно... Ежели веришь, стало быть, бог есть, потвоему?..

— Дурр-а-ак... За такое слово сто раз дурак... По самое это место... — цедит сквозь зубы дед.

— Ну ладно. Стало быть, есть, — заключает Ванька. — А где же он?.. Я ли ему не молился?.. Я ли не ползал перед ним на карачках? У святителя Иннокентия в Иркутском был. Ты ушутил при моих-то ногах!.. Идешь, бывало, в мороз ночью, вскинешь голову вверх, а там звезды, да месяц по небу ходит... «Господи, шепчешь, господи. Оглянись на Ваньку, пошли исцеленье. Чего тебе стоит, господи. Не дай загинуть!.. Душа моя, господи, душа опаршивела, коростой, как пес гнилой, вся покрылась...» Да ну плакать, да ну кувыряться в землю, в снег башкой... Я, брат, слезоточив, из меня слеза даже неудержимо катится. Встанешь, утрешь рыло-то да на небо взглянешь, а там все по-старому, только месяц смотрит на

тебя да ухмыляется... А грех все на душе камнем лежит... — закончил он тихо и низко опустил голову.

— Да какой у тебя грех-то? Какие у нас с тобой могут быть грехи?.. Ну-ка...

Ванька деланно захихикал и торопливо, скороговоркой пробормотал:

— У меня, дед, грехов сорок мешков. Один грех продал — всех выпустил. Разбрелись который куда: кто по кабакам, кто по дуракам, а одного вот у вас на заимке пымали... Ххе... — и, помолчав, добавил: — Поди и грехов-то никаких нет на свете... Каки таки грехи бывают, ты знаешь, дед?..

— Как какие? — встрепенулся старик и, придвинувшись вплотную к калеке, стал подгибать по очереди корявые пальцы и перечислять монотонным, как у начетчика, голосом:

— Непослушание, нерадение, паки блуд, лихоимство, гордыня — дочь дьявола, злоненавистничество, и самый смертный грех: хула на духа свята...

— Ха-ха-ха! Здо-о-рово... Расписал, как размазал... А ежели какого зловредного человека жисти решить?.. Это как?.. Грех, али как?.. По маковке ежели фомкой кокнуть, ломиком? — И в голосе Ваньки заметен был хмель.

— Дуррак... Язви те!..

— Х-х-х-ха... — хрипел бродяга... — Не любишь?.. А ежели от которого, окромя зла, никакой корысти, как от гадины, тогда как? А?..

— Как никакой корысти? Ме-ельница!..

— Ну, вот хоть от меня, напримерича. Какой прок во мне? И какой я есть человек на миру?.. Я столь же миру-то нужен, как дыра в мосту... Вот и следовало раздавить меня, как таракана. И я так умствую, что тому человеку-то за меня, как за паука за доброго, ежели убить меня, сорок грехов убавится. Ххы...

— Статуй этакий... Елыман, прости бог... Пей-ка чай-то, умная твоя башка со вшами. Оно лучше дело-то будет. Ош-парь-ка душеньку-то...

Чай пьют без сахара из деревянных чашек. Дед натолкал в чашку пшеничных сухарей и, прихлебывая, говорит резонно:

— Вот смерть придет, узнаешь, каки таки грехи-то бывают. Пей-ка...

— А что мне смерть? — оживился калека. — Нешто я боюсь смерти? Да хоть сейчас!.. Нашел чем пугать Ваньку... Я, дед, в прорубь бросался — вытащили, давился в лесу — веревка лопнула... А ты — смерть!..

— Ой, Ванька... Не торопись умирать...
— А как же жить-то мне, ты подумай? Ну, куда я?..
— Жисть-то нам единова дается. Эх, Ва-а-нька...
— Ну-к чо?..
— Жалеть, мотри, будешь...
— Я, брат, дед, подохну скоро. Чую, что околеть я должен
невдолге: замерзну али так где окочурюсь... Что мне смерть?..
Харкнуть да растереть... Во!... Не боюсь я ее вот ни на эстоль-
ко,— и Ванька прижал единственным пальцем кончик костью-
ля.

— Ой, вре...— недоверчиво вставил дед.
— Вот те и вре,— передразнил калека.
— Ой, паря, вре...
— Тебе, может, жить-то хорошо... дак...
— Тому хорошо, у кого брюхо большо,— перебил дед.—
А ты живи да бога благодари. Мир должон как-никак про-
кормить тебя. Без этого нельзя...

— А рука-то?
— Руку напрочь отнять...
— А душа-то покалечена, промерзла наскрозь?..
— Ха, душа!.. Да она, может, почище, чем у кого другого
прочего... От што...

— Да ты дурак, дед, прости бог, али умный?!— крик-
нул Ванька и ткнул деда в грудь.— Ежели я кудрявый был,
ежели я пригожий был, и девки от меня таяли?.. А тепе-
рича... На-ко вот. Ты ушутил?..

И, поднявшись во весь рост, Ванька, постукивая костьюлем
о лежащую возле лесину, раздельно произнес:

— Землю зря топтать ежели, в том моего согласия нет!..
Понял?..

Старик ничего не ответил, а только сказал:

— Пей-ка еще. Чаю много!

— Благодарим...

— А ты пей без сумленья... От чаю на брюхе веселей
делается. От што...

У Ваньки корявое лицо укоризной покрылось, и он, опу-
саясь на землю, сказал:

— Брюхо тут ни при чем, ежели душа просится на
волю...

— Ах ты, чтобы тебя через сапог в пятку язвило... Он
опять свое... Ххе!..— запавшие, вдавленные временем гла-
за старика грустно улыгнулись.— Как же я-то? Ведь во мне
полторы жисти сидит, а я бы еще три прожил... Че-ортушка,
прости бог, этакий... Право!

И чтоб потешить загрустившего Ваньку, он вынул из-за

пазухи табакерку и, опять не своим, смешливым голосом, разыграл штучку:

— К голому голяку, к бедному бедняку, к нашему деду Масалову понюхать табачку носового. А для чего же табак нюхать? На гору одышка не берет, под гору спотычка не живет... Ну-ка ра-аз!..— и подморгнул дремавшему Тимше. Понюхал, крикнул громко, по-цыгански:— Кахы!..— и сам себе ответил:— Кто крикнет, тому два!..

— Ну и ласковый же характер у тебя, дед,— чуть ухмыльнулся Ванька.

Дед улыбается, кутает Тимшу в шубу.

— Спи, благословясь...

Тимшу сон не берет: ему хочется послушать, что говорят большие. Но те молчат, и Тимша заводит сам разговор с дедом.

— А смертынька, дедушка, по земле ходит?..— И, не получив ответа, продолжает:

— Это пошто ж она, скажи на милость, ходит-то?..

— А вот по то, что тебя не спросила... По этому самому...— Дед опять набивает обе ноздри табаком, чихает свирепо, с присвистом, и приговаривает:

— Чи-хи... Неумытому в рыло!..

— Неумытый-то кто, дедушка, черт?..

— А вот дрыхни, тогда и узнаешь кто...

— Нет, впра-авду?..

— А вот вправду и есть...

Становилось холодно: туман пополз от речки седыми лохмами. Норовил он, цепляясь за стволы деревьев и кусты боярки, подняться ввысь, но таежный сумрак давил его к земле. Справа, над речкой, в прогалинке, серебрился месяц, и его тихий голубой свет встал и расплескался над объятый мраком тайгой.

Костер меркнет. Старик нехотя подымается, бросает смолье и укладывается спать. Бродяга, свернувшись калачиком, лежит молча, должно быть спит. Возле него Верный.

Тимша пыхтит под шубой, с Жучкой возится, а потом, высунув голову, говорит деду:

— Анадьсы я оборотня на заимке видал с парнишками... Здо-ро-ве-енный...

— Что и говорить...

— Нет, вправду... Кобелем борзым прикинулся... Матеру-у-у-шший...

— С тобой-то слово,— подсмеивается над внуком дед, сладко позевывая.

Тот обиженно сглатывает, глазенки блестят огнем, и он рассказывает дальше, стараясь придать голосу вес:

— Я схватил кость аграма-а-аднищую, да кэ-эк этим костем-то звездану кобеля-то по роже!..

— Ври-ври...

— Вот-то и ври-ври...— Тимша вылез из-под шубы, лицо его вытянулось страхом, и он, сам себя пугаясь, прохрипел:— Дык кобель-от так весь тут тебе и рассы-ы-ыпался. Аж искрушки полетели!..

Когда старик загремел густым смехом, Тимша, смутившись, виновато улыбнулся и юркнул под шубу...

— Вот как выволоку тебя за волосья,— сказал, хихикая, дед,— да спущу штаны... Эвона чо городит... Баран этакий!

Дед вскоре начинает с присвистом всхрапывать, и мальчонка, надрожавшись досыта под шубой, тоже крепко засыпает.

IV

...Костер погас. Ушел с неба месяц. Передвинулись звезды. Непроглядным мраком охватило тайгу. Стоит тайга, не шелохнется, спит. Самое глухое время наступило: без звуков и шорохов, словно вместе с месяцем исчезла вся жизнь.

— Господи, батюшка...— слышалось еле внятно. Это Ванька шепчет. Возится во тьме, всхлипывает. Молчит.

— Дед, а дедушка. Спишь?..

Не слышит, намаялся, спит старик крепко.

— Ох, батюшки мои, батюшки... Что ж это будет... А?..

Слышно — ползет к деду:

— Где ты тут? Проснись-ко, Григорий... Эй!

— Кто тут? Ты, Тимша?

— Нет, я, дедушка..

— Ты, Ванька?..

— Я... Я... Страх на меня навалился, дед! Порешу я свою жисть!— в голосе его большие дрожат слезы.

— Ну, не паршивец ли ты?..— зло и укоризненно шепчет дед,— ну, не озорной ли ты малый?.. Чтоб на себя руки наложить? Тьфу? Удди от меня к яду, дьявол этакий!..

Молчанье. Опять тьма поглотила звуки.

— Дык чижалехошкы ведь... Сам не рад поди... Душа во мне запишала... Ау, брат... Сумленье к самому сердцу подкатилось. Гложет, окаянное, как собака кость, дыхнуть не дает. Хошь стой, хошь падай... Прямо край!

Дед молчит. Неужели спать хочет? Нет. К его сердцу жалость вдруг прихлынула, кровью облилось его старое, изжившееся сердце.

— Ну, скажи на милость... по чистой совести,— шепчет бродяга.— Ну, кому нужен я? Каков теперича прок от меня? одна помеха...

— Как кому? Себе нужен.

— И себе не нужен,— еще тише шепчет.— Жил я, радовался всему на свете, а люди меня в яму сбросили... Ослеп я там, руки-ноги поломал, и нутро у меня порешилось. Ну, куды я должен? А из ямы мне не вылезти, а смерть забыла про меня — нейдет... Как тут? И еще раз тебя, отец, убеждаю, попомни: зря топтать землю — в том моего согласия нет!..

— Терпи. Значит, терпи, парнище... От што...

— Терпи... А ежели и терпелка-то спортилась, ржой покрылась... Тады как?

Молчит старик, что сказать — не знает.

— Вот видишь?.. молчишь, дед... Я бы давно ушел, да тайга держит: живи, говорит... — задумчиво вымолвил бродяга и, шевельнувшись, крикнул с угрозой:— А уйду-таки!.. Нет, дедушка, я уйду... Как хошь, брат...

Тот все еще молчит, не может с мыслями собраться.

— Нет, нет, уйду... Уйду-уйду... Как хошь...

Тогда дед все таким же отечески-раздраженным, чуть насмешливым, чуть укоризненным голосом, сказал:

— Ты еще молод, сударик. Жисти не знаешь... Тебя еще жареный петух в брюхо не клевал... От што-о-о...

— Боюсь я ее, окаянной!.. Смерти этой самой!..

— А как же ты даве... — обрадовался дед.

— Зря тогда молол, похвалялся. А теперича... Веришь ли, дедушка Григорий, как и расставаться с жистью-то?.. Неужели ты не боишься?..

Дед зевает, бормочет молитву и, не торопясь, чеканя каждое слово, говорит:

— А чего ее бояться-то?.. Бедному, брат Ванька, умереть легко: стоит только зашуриться... От што-о-о... Сама придет, никуда, брат, не денешься... А ты не накликай ее... Грех... От што-о-о...

И минута и другая проходит. Оба молчат... Только Тимша тоненько во сне хохочет под шубой да вдали ухает филин.

Дед чиркает спичку и разжигает костер. Тени торопливо пляшут спросонья, насакивая гурьбой на что попало, и под их полусонной пляской горбатый нос деда начинает трястись, лицо то становится огромным и плоским, как лопата, то

собирается в клубок с перекосившимся в страхе, сумасшедшим взглядом.

Ванька согнулся в дугу, словно лесиной пристукнуло — сидит неподвижно, низко понуря голову... Жив ли? Ярко вспыхнул костер, но нет в огне силы, стал потухать.

Дед укладывается, крестит размашисто вокруг себя тьму и охает.

Ванька молчит, только плечи вдруг ходуном заходили и затряслась голова. И из его груди прорываются робко придушенные вздохи и всхлипывания.

— Ты что это, Ванька? — тревожно бросает дед.

Тот борется с собой, но, видно, совладать не может, начинает, уже не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплевывая сердито и ляская по-волчьи зубами.

Костер гаснет, вверху ветер начинается, и под легкий шелест тайги Ванька надрывается звериным хриплым воем.

— Ванька!.. — кричит дед.

— Ууу... Ууууу...

Ветер все пуще, зашептала тайга, всполошилась. Сумасшедший вой, навевая ужас, будоражил тьму, до боли сверлил сердце деда, наполнял неизъяснимым страхом все кругом.

— Да ты ошалел!!! — кричит испуганно дед, — что ты, черт, как лесовик!.. Аж жуть берет!..

Бродяга смолк, до крови закусил губы.

А тайга брюзжит, вершинами машет, спорит о чем-то с ветром.

Ветер, злясь, треплет встречные деревья и спешит дальше, вглубь, будит тайгу. Шумит тайга, шумит. Капля за каплей падает дождь.

— Григорий... — помедля немного, позвал Ванька решительным голосом.

— Ну что, родимый? — учуяв что-то, отвечает ласково дед, — ты подь-ка поближе сюда... А то ишь тайга-то матушка гурорит... От как... Ну-ка...

И во тьме чуть слышно:

— Покаяться я тебе должен, как перед богом... Видно, капут пришел мне... Не совладать... Ау, брат!.. Жила во мне у сердца лопнула...

Помолчал. Вздохнул. И дед вздохнул.

— Попа-то... Помнишь?.. Ведь я спалил... Я... А ты как думал?

— Ни-и-чего... — еще ласковей отвечал дед, — ох, мила-а-й... Так ему и надо, крохобору.

— Дунюшку-то... Дунюшку-то ведь... я... порешил...

— Но-о-о?..

— Я... Я... Не досталась чтоб... Уманил я ее к речке, да в прорубь... Ву-у-у!.. Ухухууу...

И сквозь вой слышен строгий, властный окрик деда:

— Ах ты, проклятая твоя душа!.. Варнак ты!.. Варначише, язви те!..

— Про-сти-и... Христом прошу...

— Прочь удди!!

— А ты пожалей, слышь, дедушка...

— Пожалеть? Вон я тебя пожалею, жиган ты этакий!

Вот ужо. Душегуб проклятый...

Ванька скачет прочь от деда, как от журавля лягушка...

— И ты?! И ты, дед?! С попом вместех?!

Ветер ураганом взвился по тайге, обрывая шелковые хвон. Угольки в костре вспыхнули и зарницей на миг осветили поляну. Тайга заревела, затрещала вершинами. Дерево где-то ухнуло во тьме и с треском и стоном упало на землю.

Дождь тихо идет. Ураган умчался, лишь ветер робко блуждал меж хвой тайги.

Калека съежился в клубок, лежит на боку, к сосне привалившись, и зубы его от волнения лихорадочно стучат. Чувствует Ванька, что нечем дышать становится: тоска душит, змеей подкатилась к горлу. Лежит, думает, глаза открыты. И не может понять, то ли наяву мерещится, то ли во сне видит жизнь свою, да не ту, что тучей надвинулась, камнем повисла на шее, а новую, светлую и радостную, которая в удел бы досталась Ваньке, не случись с ним греха. Вот он сильный, кровь бушует в жилах, на щеках румянец играет. Тройку каурых, своих собственных коней, закладывает в наборчатую сбрую, кореннику шаркунцы серебряные подвязывает. Возле него карапуз топчется: «Тятенька, бормочет, тятенька...» Дуня вышла, румяная такая, дородная. Подошла, обняла Ваньку, в глаза, усмехаячись, заглядывает и умильным голосом шепчет: «Соколик мой... Боровая моя ягодка».

Лежит Ванька. Спать не спит — глаза открыты.

— Ванька,— любовно окликает дед.

— Ну?..

— Ты меня, Ванька, в слезы вогнал...

Бродяга засопел, что-то сказать силится, но уста молчали.

Дед кряхтит, ворочается с боку на бок:

— Ты... не убивец, Ванька... Я чую это... И пошто ты, например, таку неправду на себя примал?

Ванька Хлюст точно тьму рубит:

— Душа требует.

— Как так душа? Бог простит, брат. Он все простит. Все грехи твои на обидчиков переложит. Чуешь?.. А я приют тебе предоставлю к зиме... От што... Странанья твои не малые... Он, брат, все видит. От што, мила-а-й... Не робей... От што... Жить у меня будешь в тепле.

Ванька, повалившись на грудь и обхватив голову руками, скулит, как малый ребенок, и не может от волнения понять, что говорит дед.

— Слышишь?..

А тот все скулит и ничего не отвечает.

Уснул дед и уже бредит во сне.

Стонет в болоте выпь, точно тупым ножом по стеклу скоблит, небо плачет, возвращая земле ее слезы, тайга шумит — и чуть внятно всхлипывает Ванька.

Потом все умолкает...

Час проходит. Другой проходит. Нагулялся ветер, поздний гость, пал устало на дно тайги. И снова стоят в вышине и тихо мерцают омытые слезами звезды.

Но, чу!.. Застонал Ванька, заметался... Знать, страх подполз к его изголовью и отогнал прочь таежные сны.

...Темно. Костер погас, в пепел рассыпался. Тихо. Словно смерть вошла сюда, и погасила свет, и смела все звуки.

...Верный гавкнул спросонья и залился тревожным лаем. Побежал куда-то, ворчит, мечется, поблескивая в темноте угольками глаз. Потом завыл... таким протяжным, тонким, со слезами, голосом.

В тайге еще темно было, а небо уж начало бледнеть, и потянуло сырým холодом. Ночь кончалась.

— Ванюха! Ванюха-а!..— крикнул пробудившийся дед.

Но никто не ответил.

КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТОК

I

Дедушка Изот — настоящий таежный охотник, медвежатник. Вдоль и поперек на тысячу верст тайгу исходил: белковать ли, медведей ли бить — первый мастак. А соболю попадет — срежет за милую душу и соболя. И чего-чего он только не видал в тайге:

— Ты думаешь, эту просеку люди вели? Нет... Это ураган саданул, ишь какую широкую дорогу сделал... А меня, парень, почитай на сотню сажен отмахнуло вихрем-то, сколь без памяти лежал. А молодой еще тогда был, самосильный...

Изот и леших сколько раз в тайге видал:

— Он хозяин здесь... Только что хрещеному человеку он душевреден... Иду как-то я с Лыской, а он, падло, нагнул рябину да и жрет прямо ртом...

Он и тунгусов, и шаманов их, самых страшных, самых могучих, видывал:

— Тунгусов здесь, в тайге, много. Ух, и шаманы же у них в старину были: посмотришь на него раз, умирать будешь, и то вспомянешь...

Бродить мне по тайге с Изотом весело. Заговорит-заговорит — знай слушай.

Да и тайга зимой красоты небывалой. Вся опушенная белым снегом, густая и непролазная, она кажется какой-то замороженной сказкой, каким-то волшебным полусном.

Мы с дедом еле тащим ноги, направляясь на ярко-золотой отблеск вечерней зари.

Жучка, высунув язык, черным пятном ныряет по сугробам и устало твякает, когда упавшая с сосны шишка обнаружит притаившегося на вершине зверька.

До нашего зимовья, крохотной лачуги, добрых версты две. Сумрак все настойчивей выползает из берлог и падей, заря гаснет, в небе одна за другой вспыхивают звезды.

— Ну-ка, паря, приналяжем,— кряхтит дед и надбавляет шагу.

А вот и зимовье.

Маленькое, пять шагов в длину, пять в ширину, наскоро срубленное и кой-как протыканное мхом, оно нам с дедом милее каменных палат.

Жучка хозяйственно обежала избушку и, полаяв на все четыре стороны, первая шмыгнула в полуоткрытую дверь.

II

Лишь только запылали в каменке лиственничные дрова, мы с дедом повалились на холодный земляной пол и, поглядывая на веселый огонек, плакали от едкого дыма, сразу наполнившего всю избенку.

— Дед, открой, пожалуйста, дверь.

— Пошто... Этак, брат, нам и хаты не согреть. Уткнись, коли так, рылом-то в шубу... Он чичас к потолку подыметя... От та-а-к...

Дед подбросил еще охапку мелко наколотых дров, огонь заболтал о чем-то, затараторил по-своему, и воздух стал быстро нагреваться.

— Ну, садись,— скомандовал дед раскатистым своим басом,— а я дыру открою, надо дым на волю выпустить.— И, весь окутанный облаками дыма, полез на нары, чтоб открыть под самым потолком задвинутую доской продушину.

Через полчаса мы, усевшись на разбросанные по земле хвои, пили с ржаными сухарями чай, а над нашими головами колеблющимся голубоватым пологом плавал дым.

— Да-а-а...— тянет дед, настораживая к костру котелок с оленьим мясом,— ты говоришь, тайга... Тайга, брат, ох-хо-о-о-о... И народ в ней другой, особый — прямо тебе скажу, дикий народ.

Дед стоит у костра вдвое перегнувшись и, опаски ради, придерживает левой рукой огромную свою сивую бородищу.

— Да и вправду молвить — ну кто округ нас есть живой! Медведь да тунгус — вот и весь свет... Куда ни кинься — тайга... Лес, лес да дыра в небо. И никакой к нам пути-дороги... А все ж таки...

Дед набил трубку, вытащил из костра головешку, закурил.

— А и промеж нас иным часом бывает... Нет-нет да и... Тьфу! чтоб те пятнало, окаянного!— вдруг плюнул дед,— гляди, каку дыру прожег,— и, зажав дымящийся подол рубахи, принялся сердито ворошить палкой прогоревшие дрова.

— Что же промеж вас бывает-то?

— А как тебе сказать... Ну, быдто сумленье в голову вступит, куда-то поманит человека, душа вроде как скулить начнет... Вот взвился бы птицей да улетел бы к самому небушку... Да-а-а.. А то тайга, тайга, никакого тебе вздыху нет... Скушно... Да вот погоди ужо, я те расскажу, какой случай мог произойти с одним человеком, прямо будем говорить, с моим родителем.

Поужинав и разомлев в тепле, мы стали свежевать с дедом белок: обдирали с них пушистые шкурки и связывали их, хвостами вместе, по двенадцати штук в бунты.

Жучка, нажравшись до отвала белок, подсела к огоньку и вскоре, подремывая, стала клевать своим острым носом.

Дед притащил еще охапку дров и сказал:

— Ну, паря, давай укладываться спать.

— А случай-то?..

— А ты ложись знай: ночь долгая... Поди намаялся день-то деньской...

III

Мы лежали с дедушкой Изотом на прикрытых оленьими шкурами хвоях. Костер в углу на каменке ярко горит.

Черные, покрытые густой сажой потолок и стены тихо колышутся в лучах костра, а за крохотным, над скамьей, оконцем, сквозь вставленную прозрачную льдинку, мерещится голубая таежная ночь.

Дед укрылся шубой, а голые ноги подставил близехонько к костру.

— Ну, вот теперича, коли так, слушай...

Покряхтел, поскреб обеими руками лохматую голову, сладко зевнул и старательно закрестил рот.

— Ну, дак вот, я и говорю. На моих памятях это дело-то приключилось, а я втапору мальцом был. Да. И вдруг, братец ты мой, стали мы с матерью замечать, что с тятьей что-то неладное доспелось, чего-то тосковать тятя начал. А жили мы, надо тебя упредить, справно. Сядет, бывало, тятя под окошко, подшибется рукой да и сидит, как статуя, молча. «Ты чегой-то, Терентий?» — мамынька окликнет. «Так, ничего». Мамынька на реку сбегает, баню протопит, придет, а он все еще подшибившись сидит. «Да ты бы хоть поел, на-ка щербы покушай». — «Нет, не надо». — «Не брюхо ли у тебя схватило?» А отец этак срыву ответит: «Вот тут у меня болит... вот тут, понимаешь?» А сам по сердцу ладонью стучает. «Ну-к иди, не то, в баньку, похвошись». — «Дура!» — крикнет отец, вскочит, сорвет с гвоздя картуз да марш вон. А мамынька выть. Уж ночью придет батя, к петухам почитай. Вот день, вот другой, вот третий... Батя сам не в себе. Потом оклемается — опять за работу... Недели две так продюжит, а тут опять к нему лихо причепится. Ах ты, господи! А то пить учнет. И пьет, и пьет, фу ты, пропасть! Так вот и маялся. «Да с чего это с тобой, Терентий, сделалось?» — мамынька спросит. «Тоскливо мне... Тоска... Понимаешь, тоска...» — а у самого слезы. «Дык, дай я тебя натру, благословясь, сорокапритошником, от сорока приток, сорока болезней способствует», — «Молчи дура баба», — и весь сказ. И вот, братец ты мой, теперича, слушай, какая оказия стряслась. Спишь, нет?

— Я слушаю.

— То-то. Ну вот... Заходит к нам в этако-то время бродяжка, так мозгляк какой-то, ночевать просится. Ну что ж, ночевать так ночевать, места не жалко. Накормили его, значит, напоили. «Откуда бог несет?» — «По хрещеным хожу, питаюсь. А вот, говорит, верстах в десяти от вас — чудо». —

«Какое чудо?!» — отец обрадовался. «Да, говорит, по Нижней Тунгуске из Енисейска-города на Лену в каторгу преступников в лодке бечевою тянут, а среди них, говорит, знаменитый разбойник Горкин с полюбовницей». — «А чем же он знаменитый?» — «Да его, говорит, никакие цепи, никакие остроги не держат... Слово такое знает, сколь раз убегал... Сам убежит да еще человек с двадцать уведет с собою». У тятки и глаза загорелись, аж задрожал весь. «Изот! — кричит мне тятя. — Оболакайся живчиком, пойдем глядеть». Ну, одначе, мамынька умолила тятю, — не потрогал меня, один ушел. Вот ждать мы тятеньку, ждать — нету. Опосля того, этак через неделю времени, бряк в окно: «Эй, отворитесь-ка». А ночь была глухая. «Ну, говорит, Акулина, вот чудо, дак чудо видал я», — и начал нам, значит, по порядку, что и как. До самого утра я разиня рот слушал.

«Вот прихожу, говорит, я на Еремину Луку, а там действительно костер горит, возле костра люди. А туман такой стоял, что страсть. Поприветствовал я, говорит, народ. Гляжу — все чужие. И вижу, у костра сидит женщина, красным платочком повязана. Как уперлась она в меня глазами, я так назад и подался. «Чего, говорит, испужался», — а сама возьми да улыбнись. Ну, такой женщины сроду, говорит, не видал, ну, до чего у ней, говорит, глаза удивительные, как стрелой разит, вот как. Ну, из себя тоже шибко хороша. Да. «А главная-то рыбина в лодке, в шитике», — говорят мне. Сидит мужичище, вроде цыгана, нос горбатый, борода черная, цепями весь окован. Как взглянул я на него, сробел, жуть на меня напала, плюнул я, — век, мол, тебя не видеть. Вот начал народ суетиться у лодок, время плыть, коней начали в постромки вчаливать. А женщина встала, отряхнулась, бровью повела, — ну, прямо королева. «Дозвольте мне, говорит, на эту гору подняться. Лодку я догоню». А река тут быстро бежит, лодку супротив воды тянуть трудно, лодка огромная — шитик. Старший ей говорит: «Ну, ладно, иди, никуда ты в тайге не скроешься». Вдругорядь улыбнулась женщина, подобрала юбочку да айда на гору, а шитик тем временем с разбойником вверх повели. А я стою, — говорит мой родитель, покойна головушка, — дожидаюсь ее, прямо ну вот, скажи на милость, все бы на нее глядел, ну прямо околдовала, дьявол. Долго ли, коротко ли, говорит, ждал, ну только гляжу: спускается с горы, маячит сквозь туман, сама в веселых мыслях и какой-то цветок в руке держит, травинку. «Вот, говорит, мужичок: сколь времени я такой цветок искала, нигде не могла найти, опричь этого места. Беги, говорит, мужичок, к лодке, а я с этим цветком под

водой пойду, я вас наздогоню». И не успела, батюшка ты мой, вымолвить, подбежала к крутому берегу да чебурах в воду, только гул пошел. Я — ай-ай! караул! — да ну по кустам вдоль берега тесать, быдто заяц... А туман страшный; сколько разов, говорит, я под берег кубарем летал. Ну, кой-как догнал шитик. «Стой, кричу, стой! Женщина утопла!» Шитик к берегу, я вскочил, говорит, туда, начал все чередом обсказывать, так, мол, и так, и вдруг в это самое времечко как взиграет вода под кормой, как вынырнет наша красавица-то: «Ну, вот и я!» — а сама сухохонька, быдто и в воде не бывала. Мы все так и осатанели. Шапчонки сдернули, окстились. А она улыбается. Туман того гуще стал, все как в молоке, вся округа. Народ перепугался, шепотком разговоры ведут, боятся, как бы она, колдовка-то, какого худа не сделала: как махнет цветком да оборотит всех медведями али гадиной какой. А она, братец ты мой, ровно бы угадала. «Вы меня не пужайтесь!» Ну, мы ничего, справились».

Мой родитель с неделю с ними плавал, она еще разов пяток этаким же побытом под водой ходила. Да...

Ну, теперича, паря, давай курнем.

IV

Накурившись всласть, дед приподнялся, задвинул дымовую продушину, огладил Жучку и снова лег.

— Ну, дак вот, парень... На чем бишь я остановился-то... Да-а-а... Этово, как ево... Да-а-а...

Наконец, собравшись с мыслями, дед начал:

— И с этого самого времени родитель мой, покойна головушка, в отделку загрузил, окончательно умом тряхнулся. Самое лето наступило, пора сенокосная, тут только давай-давай. А он как-то утречком: «Ну, прощай, баба... прощай, сынок... А я пойду...» — «Куда ты, что ты?...» — «Пойду счастье пытать». — «Очнись, одумайся...» А он свое. Так, братец ты мой, и скрылся. Плакали мы с мамынькой, плакали, как быть, куда деваться? Объявили миру, стали у мира помочи просить. Вот всей деревней с неделю по тайге шарились, да разве сыщешь: тайга эн какая, конца-краю ей нет...

А тут пошел это я с ружьишком линных уток пострелять по Ереме-реке. Вот, братец ты мой, подхожу это я к берегу, слышу: схлопало что-то по воде. Я испужался, схоронился за сосну, высматриваю. Опосля гляжу: человек посередь вынырнул да к берегу саженками чешет. Глядеть, глядеть —

господи, царь небесный, да ведь это тятя. Я к нему. «Тятенька, кричу, тятенька!» Подбежал, повис у него на шее да ну реветь в голос: «Ты что же, тятенька, задумал?»—«А я, сынок, цветки пытаю всякие... Мне колдовской цветок обязательно надо сыскать... Пойдем-ка». И повел меня в кусты. Шалашик у него там сделан, а кусты густущие, век не найти бы... Возле шалаша на козлиных жердочка строганая, а на ней всякие нанизаны травы. «Вот эти все перепробовал, в них силы нету настоящей».—«Тятенька, мамынька меня за тобой послала... Пойдем».—«Обожди, сынок. Айда к речке!» Вот повел меня к берегу. Разулся опять, разоболокся, взял из кучки один цветок белый, зажал в горсть, разбежался да бултых в воду, на самое дно. Ну, я стою разиня рот, дивлюсь. Опять тятя нырк наверх посереде речки, фырчит, отдувается, аж захлебался весь. «Не тот, кричит, не тот!.. Дай-кось синенький». Да так до самого вечера и нырял все с разными цветками.

Ну, иначе, сговорил я его. Пошли мы с ним домой. Как пошли в тайгу, сели под елочку, я ему и говорю: «Зачем же тебе, тятя, такой цветок?» Он похлопал это меня по плечу, вот как сейчас помню, да таково ли ласково вымолвил: «Ах, сынок, сынок... Еще молодой ты, чего знаешь... Скушно человеку, сынок... Вот как скушно... Ты слыхал, говорит, сказку, как Иван, царской сын золотых кудрей, на колдовском коне за тридевять земель ездил, али про жар-птицу, али про ковер-самолет?.. Вот то-то и есть, сынок! Да кабы мне такой цветок-то колдовской найти... Ха! Да я бы сквозь все земли прошел, я бы все небушко надзвездное вольной птахой выпорхал... Ух ты, господи!..» Обнял он меня да таково ли страшно задышал... Я устался на тятю, а у него слезы так ручьем и хлещут...

Дед пофыркал носом и незаметно смахнул набежавшую слезу. Под нарами тихо взлаивала во сне Жучка. А в костре попискивали, о чем-то шептались золотые угольки.

— Ну, как ты думаешь, чем же вся эта побывальщина окончилась?— спросил дед, повернувшись на бок, ко мне лицом.

— Не знаю.

— А окончилась она так, милый... Вернулся отец и все нам с мамынькой по хозяйству справил. Вперед всех с поля убрались. Да. И вот в позднюю пору, уж когда деревья начали призадумываться, а в лесу красный лист обозначился, опять тоска к отцу подкатилась. Он мамыньке, царство ей небесное, ни гугу, а все со мной больше разговор имел. Как-то раз и говорит: «Я теперича, Изот, по-другому надумал

цветы пытаться». Не прошло и трех дней, хватать-похватать, тятькин и след простыл. Ну, тут опять и началось у нас с мамынькой. Она и к попу-то ездила, и знахарок-то выпытывала, и шамана от тунгусов примала,— нет. Прямо как канул.

Уж ко движению дело подходило, на хребты снег пал. Сидим мы как-то с матерью, сумерничаем... Приходит в избу сосед наш Онисим. Покрестился на святы,— «здорово, говорит, живете»,— а сам топчется. У нас с матерью так сердце и захолонуло. «Ох, не с добром ты, я вижу, Онисим»,— мамынька молвила, а он: «Так что Терентий ваш нашелся».— «Где?!»— «Известно, в тайге».— «Ну!»— «Зверь его, видно, зашиб, медведь». Матерь моя так с лавки и покатилась. А он: «Ехали мы, говорит, из кедровника, с орехов, глядим — что за оказия!— из-под хворосту ноги торчат. Раскидали хворост, а там Терентий вниз лицом лежит, а в горстке у него цветков желтенький зажат быдто».

Дед, помолчав, прибавил:

— Вот те и все. И весь сказ мой. Вот я и мекаю: однако он, родитель-то мой, покойна головушка, медведя цветком-то покорить хотел да в поднебесье лететь на нем, навроде сивки-бурки... А?

Дед замолк и долго лежал, тяжело вздыхая. Костер прогорал, в зимовье стоял колеблющийся сумрак, а голубой сноп, лившийся через ледяное оконце, нашупывал что-то под нарами, шарил в темном углу, кого-то выслеживая и карауля.

Возле зимовья вдруг послышался скрип снега, будто грузный человек взад-вперед ходит, и тихий, надвигающийся из тайги разговор. Жучка, заблестев глазами, сторожко подняла голову и, потянув ноздрями воздух, октависто заворчала.

— Дедушка, чуешь?

— Стой-ко, ужо...

Мы приподнялись, сидим, опершись руками в землю, и чутко прислушиваемся. Да, голоса... Говорят медленно, тихим распевом, много голосов. Все ближе, ближе...

— Ах, окая-а-нный, а?..— испуганно шепчет дед, крестится и тянется тихонько за ружьем. А голоса громче, шумней...

Жучка, вся ощетинившись и рыча, подступает к двери. Кто-то за дверью стонет, торопливо шарится, скобку ищет...

— Стой, держи... Хватай ружье!..

И уж не разобрать, что творится там, за стеной: все смешалось в еще далеком, но быстро растущем вое.

— Жучка, узы!..

И вдруг тут, среди нас, застонало, завывало, загайкало, дверь рванули — гайгага-а-а! — дверь настезь.

— Свят, свят!..

Ворвалось, ввалилось что-то безликое, все в белом, крутануло, плюнуло, разметало весь костер, холодом глаза залепило, заухало...

— Аминь, аминь!.. — взревел дед и грянул из ружья... — Сгинь, нечистая сила, сгинь!.. — и все смолкло.

Я, не попадая зуб на зуб, стоял возле деда в глубокой тьме. Жучка жалась к ногам и испуганно повизгивала. Дед трясущимися руками чиркнул спичку, лучину зажег. Весь пол, нары и мы сами были запорошены снегом, а дверь — плотно закрыта.

Дед перекрестился: «Ну-ко, благослови, Христос», — и как-то по-особому, с хитринкой улыбаясь, стал разводить костер.

— Вот они, нечистики-то... Чуешь?.. Ишь как я его из ружья-то ожег подходящие.

В двери зияла пробитая пулей дыра.

— Это ураган, — заметил я.

Дед круто обернулся ко мне, выпрямился, ударившись головой о потолок, и зло крикнул:

— Ураган?! Как не ураган!.. Много ты смыслишь... Вот пойдём-ка по дрова.

Мы вышли. Тайга не шелохнется. Полный месяц в мутно-белом кругу высоко стоял над тайгой. Снег на полянке переливался алмазами, и кругом была холодная тишина.

— Ну, где ж тебе ураган? А?.. — подступал ко мне дед.

— А видишь, как запорошило тропу...

— Тропу-у-у?! Толкуй слепой с подлекарем... Вот те и тропу... Тащи дрова-то... Умник!

Вновь засиял костер. Мы вывели набившийся в зимовье снег и стали укладываться спать.

— Это оттого, что я маху дал, забыл дверь окстить.

И дедушка Изот залез на нары, закрестил торжественно дымовую продушину, потом стал крестить дверь, шепча какие-то тайные слова и сплевывая через левое плечо.

Была глухая полночь. Меня одолевала дрема. Я засыпал под раскатиисто-плавный голос деда:

— Вот так же лег я, не поблагословившись, в зимовье одном, а там быдто блазнило, значит, по ночам рахало... Да-а-а...

Всю ночь мучили меня страшные сны: то филином летал я над тайгой, то боролся с медведем, то нырял на дно реки за колдовским цветком.

СИБИРСКИЙ ДЕД

I

По селам слух прошел: австрийцев на постой из города гонят, австрияков.

Кто такие эти самые австрияки — никто путем не знал. Хотя в городах крестьяне видали их частенько: народ, кажется, чистый, тихий, ничего народ. Но это в городе. А запусти-ка его в деревню, еще неизвестно, каким он там себя окажет. Вдруг бунт поднимет, вдруг красного петуха пустит али девок да солдаток мутить начнет.

Дедушка Пров — настоящий сибирский кедр, мужик самосильный, всей семье глава. Он крепко постановил в своем сердце: этому не быть, ни австрияка поганого, ни другого басурмана к себе не пустит.

И все об этом по селу знали и Прову верили:

— У нашего Прова Сильча слово — олово.

Пришел к Прову староста:

— Так что, дедушка, пленного тебе... Как хошь...

— А это видел?!— крикнул дед и наставил старосте кукиш.

Приехал урядник списки составлять:

— Ну, Пров, принимай австрийца...

— Да ты в уме, твое благородие?! Да ты сшалел?!

— Закон. Ничего не попишешь: у тебя хата большая.

— Врешь, твое благородие. Этому не быть.

Потащили Прова на отсидку, на три дня в каталажку заперли,— авось прохладится там, другие мысли в голову вступят.

Сидит дед за решеткой, не сдается:

— А что такое — каталага? Да мы ее, матушку, всей деревней ладили... И моих поди бревна три есть: да я тут, как у себя на печке, полный, можно сказать, хозяин... Знай сиди...

В другой раз приехал господин урядник:

— Ну как, согласен?

— Кто? Я?— сверкнул глазами Пров, ошетинился весь, на лысине испарина выступила.— Я в своей избе царь и бог. Не жалаю!

Урядник кашлянул в рукав, покрутил левый ус:

— А ежели в тюрьму за такие поступки?..

— Хоть в каторгу!— сжал кулак Пров и грохнул по столу.

Урядник сгреб портфель, надел задом наперед папаху, и, засвистав простуженным носом, юркнул на улицу.

Все село ахнуло, узнав про дедов разговор.

— Ха! Молодец дедка. Воевать может...

— Гляди, паря, какой упорный...А?

А тем временем австрийцев на село пригнали: кому одного, кому и двух поставили.

Пришел к Прову священник, стал его упрашивать. Пришли к Прову соседи, товарищи, просят Прова:

— Да што ты, на самом-то деле... Что ты, бог с тобой...

Пров долго молчал. Сидит, пыхтит, седую бородищу потеревливает. А возле него внучка увивается, черноглазая Дунька: и так и этак зайдет, все норовит поймать дедов строгий взор.

Как брызнет в нее дед глазами, зашипало морозом пятки у босоногой Дунюшки. Однако, захлебнувшись, она скороговоркой пропищала, прижимаясь к деду:

— Дедушка... А дедшка.. Ддушка...

— Ну?

— Прими стрияка... Прими...

— Пшл!— ожег ее дед, но тотчас же улыбнулся.

А как улыбнулся, махнул рукой.

— Ну, вот што, хрещеные... Так и быть... Давайте его мне, собаку.

— Все село, узнавши, ухмыльнулось:

— Ага, Пров!.. На попят пошел... Хе-хе...

II

У австрийца на правом боку сумка через плечо, у сумки — чайничек болтается, на левой стороне — желтые полусапожки. Ничего, собой чистяк, краснощекий, шапка с медной пуговкой.

Пришел, пролопотал по-своему, поклонился деду.

— Убирайся к черту!.. Язви тя...— отвернувшись, сплюнул дед.

Семья у деда большая: старуха, две солдатки, девка да пятеро внучат. Спать легли рано: нечего зря керосин изводить. Поужинали, чайку хлебнули всласть и на боковую.

Австрийца дед к столу не допустил:

— Пускай у порога жрет...

Австриец покушал на сундучке хлеба, чаю кружку подали, выпил, творожку бабка подсунула — съел.

Лежит дед на полу на шубе и все брюзжит, все на свете лает: и господина урядника, и батюшку, и кума, а пуще всех — австрийца.

— Холера бы его задавила... Язви его в хвост... Еще упрет чего-нибудь, анафима.

И все брюзжит, все брюзжит. А то себя начнет честить.

— Старый пес... Запустил-таки жабу... Обогрел... Они, дьяволы, сынов наших убивают, а их тут чаями-сахарами... У-у, пропастина.

Австриец у печки лежит, шинелишку свою подкинул; молчит, о чем-то думает. О чем австрийцу думать? О том, как бы к солдаткам пробраться, как бы коня угнать, как бы деду башку топором оттяпать да из сундука мошну стянуть?

Дед к сундуку крепко плечом прижался, в головы топор положил, боится глаза сомкнуть.

— Старуха! Зажги-ка лампу: пусть горит...

На австрияка смотрит. Тот смиренно лежит, думает, глаза открыты. О чем он думает? О вишневых садах своих думает, о жене, о сыне... Эх, скрипицу бы сюда... Взыграть бы на скрипце песню...

Вздыхнул австрияк.

«Ишь ты... Вздыхнул...»— думает дед...

Борется дед с дремотой, плечом еще крепче к сундуку привалился, топор нащупал: тут, острый...

— Вы?! Чего ржете? Чего беса тешите? Дрыхни!

Присмирели солдатики.

— Это Дунька... Чикочется...

— А вот ужо-ка я ее...

Встал дед, подбросил в железную печь дровишек, жарко сделалось.

— Нет, его, варнака, в хлев бы, к баранам бы... А то, ишь ты, развалился... Брахло такое...

Разомлел дед в тепле, уснул. И приснился ему сон страшный: будто боров нос ему откусил, будто подошел к деду, хрюкнул да как цапнет за нос.

— Горим!

— Ково?!— вскочил дед и схватился за топор.

Старуха лампочку подкручивает:

— Зря горит...

Старик перевел дух, перекрестился, лег и уснул крепко.

III

Утром, ни свет ни заря, пробудился Пров. Ставни скрипят, ветер под крышей воет.

«Буран...»— думает дед.

Старуха печь топить собирается. Трехшерстный котике об австрийца трется, хвост трубой, мурлычет, песни ему напевает, ластится. Австриец за ухом ему щекочет, оглаживает, а коту любо.

— Буран,— говорит дед старухе,— ишь как воеет, ишь выкручивает...

Солдатка еле ставни открыла, до пол-окон снегу насыпало, страсть.

— Надо за сеном собираться...— кряхтит дед.

Австриец живо встрепенулся, валенки с печи достает, полушубок хозяйский надевает, рукавицы ищет.

— Эй, ты!.. Пуговка свинячья!— взревел дед.— Ты куда это, супостат, а?! Скидывай!

Австриец остановился как вкопанный, трубку изо рта выхватил:

— Сено... ехай... туда...

— Какое сено?— разинув рот, приподнялся Пров с шубы.— Сам поеду...

— Ты старий... борода... седой... ты на печку лезь... Спай...

Дед окаменел:

— Да ведь тебе не найти?

— Мальца посылай. Кажет.

Дед призадумался, на австрияка во все глаза смотрит. Лицо у австрияка румяное, лукавства во взгляде нет.

— Эй, Мишка!— крикнул дед внуку.— Оболакайся живчиком... Айда со стряком...

Умылся дед, богу стал молиться: «Господи, спаси помилуй... Тоже, поехал... Рабо-о-тничек. Ха!.. Ище парнишку-то там... как бы... Боже, милостивый буди нам, грешным. Соббачья шерсть... Алилуй, алилуй, господи».

Помолившись, Пров перетряс все доспехи пленного, сумку вывернул:

— Храни бог, ножа нет ли али пистолета... Ого, книжница...

Он поднял маленькую, в переплете, книжку.

— Эй, бабка!.. Глянь-ка... Борогодница это, што ли, срисована?

— Она... Стало быть, она, матушка...

— Да-а...— удивленно протянул Пров,— вишь ты...— и все аккуратно сложил в сумку.

Еще печь не протопилась, заскрипел под окнами снег.

Дунька давно австрийца у окна караулит, продышала в стекле глазок:

— Стряк едет!.. Воз везет!.. Гли-кось, деда, гли-кось!

Дед поперхнулся чаем и закашлялся.

Австриец, весь запорошенный снегом, вошел в избу. Пров, далеко вытянув левую ногу и подбоченившись, позвал:

— Эй, служба!.. Как имя твое? Кличка-то?

— Вацлав.

— Ну, Асаф, так Асаф. Залазь-ка, Асаф, за стол, садись чай пить. Дай-ка ему, бабка, штей.

За день Вацлав воды бабам натаскал, дров наколол, снег расчистил.

— От пес... Какой горячий... А?— брюзжал все время дед, ухмыляясь в бороду, спать лег без топора, утром встал попозже.

— А где стрияк?

— По дрова уехал.

— Ха! Чисто камедь,— улыбнулся дед и сладко позевнул.

За обедом Вацлав много рассказывал ломаным языком.

Пров, плохо понимая его речь, поддакивал:

— А ты лупи пуще кашу-то... Не робей...

На третий день не утерпел дед: достал из сундука деньги, пошептался с бабкой и направился задами к торговому человеку.

— Отмерь-ка мне, сделай милость, двух сортов ситцу... с разводами... на пару рубах. А на третью — кумачу.

Отмерил торговый человек.

— Покажь-ка ты мне на штаны сукнишка... Дело! Отмерь что полагается.

С удовольствием отмерил торговый.

— Ну, теперича опояску давай... Шапку давай.

— Это кому ж, Пров Силыч?— осклабился торговый человек.

— А надо... Кому придется,— ухмыльнулся дед.

Принес домой. Похлопал австрийца по плечу:

— На, Асаф, получай... Потому как ты очень сердитый на работу... дороже ты мне всего... Эй, женски! Качай ему всю амуницию...

Австриец широко улыбался, тер рукой переносицу и от удовольствия усиленно сопел.

— А вот ужо сучку пестренькую удавим, дак... я тебе рукавицы справлю. Ничо... Живи со Христом,— сказал Пров и еще раз потрепал Вацлава по плечу.

ТА СТОРОНА

I

Они жили втроем: старый тунгус Давыдка, его жена Чоччу и брат Давыдки — Василий. Крестились недавно — вряд ли пять лет прошло — и ничего не понимали в новой вере. Знали только понаслышке, что есть бог Никола, что он живет в большом селе, в белой каменной юрте, и что перед ним днем и ночью горят свечи. Но село от них, сказывают, тысячу верст: до него надо полсотни дней тайгой брести. Правда, поп-батюшка много толковал им, вел мудреные речи, пальцем на солнце показывал, но они путем ничего не поняли, а Давыдка слушал, слушал да заснул и захрапел так громко, что все кругом захохотали. А поп-батюшка рассердился, погнал их всех на реку, надел новые рубахи, кресты на грудь медные большие положил, помахал золотой штукой с дымом и долго причитал громким голосом. И стал с тех пор Буркиуль — Давыдкой, Чоччу — Машкой, а Рынтай — Васильем.

Так бы и жить им втроем, но случилась большая беда: старого Давыда медведь задрал.

Овдовела Чоччу. Стал Василий ее самым любимым мужем, первым. Оба молодые, сильные, жили в согласье: сохатых били, белок, лисиц.

Приехал как-то поп-батюшка и долго их ругал. А за что — путем не знают. Неужто Василию жениться на чужой тунгуске, неужто Чоччу одной, без мужика, жить? Плевать, что мертвый Давыдка его родным братом был!

Никогда Василий не послушал бы пустых поповских слов, если б не сердце.

— Как-то встретил он в тайге молодую женщину, по чудному встретил, словно в сказке. Высмотрел он на суку белку. И только было прицелился, а ружье — грох! — белка кубарем. Выругался Василий, что ружье само пальнуло, глядь — а к белке женщина нагнулась.

— Моя, — кричит Василий.

— Нет, боее, моя, — ответила чужая женщина.

Василий осмотрел свое ружье: пистон целый.

Закурили трубки. Анна, затянувшись, передала свою трубку Василию, почмокала розовыми губами и сказала:

— А я, боее, себе мужика ишу... Муж помер. Одной не славно. У тебя баба есть, боее?

— Есть... — сказал Василий, рассматривая ее губы и глаза. Но сердце его замерло, и кровь ударила в голову. — Нету, — поправился он. — Есть, да... Только... — Он замаялся.

Василий домой вернулся не в себе. И всю неделю был жалкий, растерянный.

— Ну, ищи другую,— сказала Чоччу.

Взглянул на нее Василий: баба сидит, вся в дыму табачном, глаза горят.

— Как ищи?.. Откуда знаешь?

— Ищи... Одна проживу.

Чоччу хорошо стреляла, хорошо пальмой-рогатиной владела, найдет медведя — не упустит.

— Я, Чоччу, на промысел пойду... Ты, Чоччу, дожидай...

Утренней зарей взял Василий ружье, собаку, поводит носом во все стороны, принялся и быстро зашагал полевой восхода.

На четвертый день взлаяли собаки, дымок синий показался, олени целым стадом бродили возле, отрывая из-под снега мох.

— Вот, пришел...

Анна у костра сидела на пенушке и крошила в котел оленьё мясо. Подняла на него глаза, осмотрела с ног до головы: Василий красивый, высокий, плотный — и ни слова ему не сказала.

Он шагнул в ее чум и разложил там костер. Вскоре явилась и Анна. Нашлось вино. Вкусно поели, веселые сделались, вино по жилам потекло. Вот сам собой рухнул чум, открылось небо, звезды унижали деревья и, шурясь, стали смеяться, а круглый месяц колесом закружился, запрыгал, по небу, как по снеговым полям заяц.

Анна вскрикивала и хохотала, весело ударяя в ладоши. Василий указывал пальцем на месяц, подмигивал ему, дразнил языком, хлопал по плечу Анну и, сюсюкая, что-то без умолку болтал.

А когда вместе с звездами вся тайга пустилась в пляс, все завизжало, запело, заухало, свист кругом пошел, топот. Василий испугался и залез в просторный, из оленьих шкур, мешок.

Разбудил его злобный лай собак.

Василий открыл глаза: темно. Его крепко обнимали за шею чьи-то теплые руки. Он потрогал — женщина. Он провёл осторожно пальцами по ее лицу: глаза у нее открыты.

— Бойе...— сладко сказала женщина.

— Ну?— спросил Василий, соображая, кто она, где он.

— Проснулся, бойе? Вставай!

Они вылезли из мешка. Сквозь верх чума просачивался солнечный свет.

— Анна?— удивился Василий и захохотал.

Анна улыбалась, закуривая трубку.

Собаки лаяли отрывисто, зло, словно по зверю. Отпахнулась пола чума, вошла Чоччу с трубкой в зубах, с ружьем.

— Уйми собак,— сказала она Василию.

Тот смущенно вышел.

Женщины быстрыми глазами ошаривали друг друга.

Чоччу была красивая. Но Анна краше. Чоччу вздохнула.

Василий долго не являлся. Обе женщины молча поели мяса и сулихты. Когда пришел Василий, Чоччу собралась в поход.

— Знаю... ты меня бросил...— сказала она.— Я встану чумом недалеко... день пути.—И пошла: несколько заседланных оленей тащили ее добро, и целое стадо их шло по бокам и сзади.

— Кто такая?— спросила Анна.

— Родня. Давыдыха... Машка... Чоччу.

II

Ну что ж! Хорошо можно было бы и с Анной жить. Но сердце Василия дало трещину: исподтиха началось — дале шире — раздвоилось сердце, как рог молодого лончака-оленя, Василий словно встал у следа двух лисиц, разбежавшихся в стороны: хорошо бы разом обеих взять.

Неделю Василий прожил с Анной. Анна такая красивая — глаз не отведешь, но Чоччу крепко к сердцу приросла — родней. Вот бы вместе всем. Но огонь с водой когда уживались? Чоччу добрая, тихая, у Анны в глазах гроза. Кто сильнее: вода или огонь? Чоччу грудь с грудью с медведем сходится — трубку курит. Анна, пожалуй, не дрогнет и человека пальмой-рогатиной пырнуть.

«Огонь все попалит, вода все зальет», — припоминается ему песня старого Давыдки — и уж не знает Василий, чем обмануть, успокоить свое сердце.

Когда про Анну думает — сердце радостно бьется под камзолом. Про Чоччу вспомнит — обомрет сердце, заскучает, словно обмороженная нога в тепле.

Сидит Василий на коряжине, в глухой тайге, а возле него табун оленей. Увидали человека, со всех ног к нему бросились: густой кустарник из оленьих рогов вырос, и в нем, как красный гриб в лесу, — Василий в своем красно-огненном камзоле. Тихий снег раздумчиво падает. Тайга распласталась, раскинула свои холмы, вся белая, примолкла, будто спит, а сама все чувствует: вздохни — насторожится, крикни — голосом

ответит. Хорошо бы вот так сидеть, сидеть. Пусть бы белый снег валил, пусть бы олени стояли возле, Василий сидел бы смирно и, закрыв глаза, мурлыкал бы песню. Хорошо сидеть, хорошо вспоминать о том о сем, а лучше ни о чем не думать. Так оно и было раньше. А теперь...

Василий покрутил головой, вздохнул... Он здесь долго будет ждать: весь вечер, всю ночь, пока не позовет Анна... Разве вскочить да заорать на всю тайгу, чтоб олени градом прочь? Холодно. Разве вскочить да закружиться на месте, как шаман? «Вскочу!..» — думает Василий и неподвижно сидит, словно вросший пень, весь от снега белый. Он сейчас зажжет костер, ляжет на бок в снег и станет разгадывать, о чем бормочет пламя. «Вскочу», — вздрагивает Василий и, весь скрючившись, начинает похрапывать и посвистывать носом.

— Анна!.. — сказал однажды Василий. — Хорошо бы, Анна...

Та молчит. Тихо Василий начал, просительно. Анна сердито вздохнула.

— Неужто, Анна, тебе не жаль?.. Одна живет... Куда попала?.. Плохо... Одной, Анна, борони бог, как плохо!

Анна выхватила изо рта трубку, сплюнула. Василий опустил глаза и долго рассматривал на своих ногах чикульманы.

— Вот бы ей тут жить... Возле нас... Мне ее не надо, Анна... Мне тебя надо... А она — так... родня...

Анна быстро схватила палку и со всего маху ударила подвернувшуюся собачонку.

Василий взглянул на Анну и тотчас же боязливо опустил веки.

На другой день он взял двух собак, чтобы идти на медведя. Голубое небо ласково глядело на него. Снег полыхал под солнцем, слепил глаза. Василий зажмурился, потянул в себя свежий морозный воздух, и все в нем заиграло.

«Скучает баба... пойду навещу», — радостно подумал он, поправил красную повязку на голове, оглянулся на чум и быстро зашагал. Собаки весело скакали, барахтаясь в сугробах.

— А не видал ли ты учуга-оленя?

— Нет, не видал... Ты как? — Василий даже попятился.

И они направились с Чоччу к ней в чум. Шли всю дорогу молча. Тунгуска печальными глазами, крадучись, поглядывала на Василия и тихо вздыхала. А дома, в чуме, стала свежевать белок.

— Вот все одна бьюсь. Волки прибежали,— сроду не было,— прибежали, оленей распугали. Убила трех.

Она оправила костер и откинула назад черные косы.

— Хожу-хожу по тайге — устану... Приду домой — нет никого... Был муж — нету... Был Василий — Анна отняла... Ну, каково живешь? Славно ли живешь? Рад ли?

— Маленько рад, маленько не рад...

Василий тер рукою лоб, сдвигал и расправлял брови, крякал. Ему надо много толковать с Чоччу... Надо бы самое-то главное сказать, чтобы поняла, надо хорошо языком повернуть: пусть Чоччу успокоится — он ее не бросит.

— Я... я... ничего... Вот Анна только...

Василий больше ничего не мог сказать. Он в раздражении больно прикусил язык, на глазах слезы выступили. Очень плохой язык, не может вертеться как следует, не может толковать все чередом, по порядку, чтобы складно и мудро, как у шамана.

— Языком вертеть не смыслю...— Василий высунул окровавленный кончик языка и указал на него пальцем.— Тут много,— хлопнул он себя по лбу,— тут того больше,— дотронулся он до сердца,— а язык дурак!.. Прямой дурак, заплетается в зубах, как лисий хвост в трущобе.

Василий опустил голову и засопел. Он все слова расшвырял, а новых не накопилось. И уж до самого вечера сидел молча. Он с любовью разглядывал каждую вещь в чуме. Вот иконка маленькая, закоптелая, висит на жерди, а рядом с ней лесной шайтан, звериный хозяин, Боллэй-батюшка, с бисерными глазами. Вот кумоланы, вот для костра рогульки, и все знакомое такое, близкое... свое...

— Ты совсем ко мне?— спросила Чоччу.

— Что ты! Как?— испугался Василий и быстро встал.— Пойду... А то...

— Да, ну-ну?— удивилась тунгуска.— А я одна?

Когда она подняла голову, Василия не было.

Другому надо день идти, Василий в одночасье прибежал, всех собак замучил. Скакали-скакали по сугробам, рассердились, злобно лаять начали. Скакали-скакали, из сил выбились, задрали носы вверх, взвыли.

Василий вторую чашку чаю выпил, когда пришли измученные собаки. Кривая сучка Камса всунула в щель чума остроносую морду, нашла желтым единственным глазом хозяина и, презрительно оскалив зубы, зарычала. А Василию и невдомек, что волки появились, что сыпучие сугробы для

собак— беда. Он все тогда забыл, только Анну помнил: у Анны брови тонкие, щеки — как цвет шиповника, тело гибкое, руки в глухую полночь ласковы, но... в глазах — гроза.

— Бойе... Это ты напрасно...— загадочно сказала Анна.

Василий раскрыл рот. Ни слова не проронила больше Анна, но он все понял.

Никогда Анна так не ласкала Василия, как в эту ночь. Но в этой ласке Василий чувствовал что-то страшное и, обливаясь холодным потом, ждал, что Анна всадит в его сердце нож.

Едва дождавшись рассвета, Василий побежал в тайгу по вчерашним следам, а обратно возвращался тихо, понурив голову и весь холодея. Солнце склонялось к западу, когда он пришел домой. Анна вышивала бисером красивый фартук-хальми и на Василия не взглянула.

— Далеко-далеко, там... Я твои следы видел рядом с своими,— дрожащим голосом сказал он и почувствовал, что его сердце останапливается.

— Где твой медведь? Убил вчера? Нет?— чуть слышно проговорила Анна. Лучше бы по щеке его ударила. Он молчал.

— Ты меня убил...— так же тихо сказала Анна. И на ее бисерный хальми скатилась бисером слеза.

Назавтра, рано утром, Анна согнала в кучу всех оленей, заседлала верховников и навьючила все свое добро.

— Пойдем,— сказала она Василию.

— Куда?

— Неделю будем идти, другую будем идти, да еще, да еще... Далеко уйдем... Тут нам не жить.

Василий почувствовал себя кустом калины, который с корнем вырывают из земли.

Пошли они на север, в ту сторону, где одни ледяные старички живут. Василий знал, что там лето короткое, и когда пойдет с ледяного моря осенний холод, все крохотные сказочные старички собираются в кучу и садятся на пенышки. Сядут, пошепчутся и опустят враз головы. А из носу капельки у них бегут, а из глаз слезы все на землю да на землю. А мороз крепко слезу кует. И все сидят, все сидят, сонные, пока не получится ледяной батожок-палочка, из носу да в землю. Так до весны и сидят. Василий все это вспомнил, страшно ему идти в далекую северную сторону.

Анна звонко кричит.

— Модо! Мод-мод-мод!.. Ко! Ко!—Звонко по тайге ее голос стелется.

Тайга седые брови морщит, слушает, непролазная, вся укутанная снегом.

III

Живет Василий с Анной на севере, хорошо живет.

Вот и весна пришла, снег начал таять, загудели ручьи, солнечный свет на ветвях повис. Ходит по тайге Василий, в каждую нору, в каждую берлогу заглядывает, у пенышков глазом землю шарит: хочет волшебных старичков найти. Но старичков нет.

— Нету... Нигде не видать...— сказал он Анне.— Надо своего дожидаться, маленького... Когда оттаешь? Когда раздвоишься?

— Скоро,— сказала Анна и как бы невзначай провела рукой по своему большому животу.

Василий рад был, что у них родится сын. Он знал, что сын. Ему надо сына. Хороший тунгус будет, белку бить будет, медведя дедушку-амаку. Не скучно будет с ним,— с ним да с Анной. А Чоччу как? Где-то она, жива ли?

Василий зыбку для сына смастерить собирается. Надо хороший лубок найти, а где его найдешь, надо большую осокорь искать. С утра ушел Василий, целый день шлялся и только вечером — уже звезды над тайгой сияли — вернулся домой.

У дерева олешиха за рога привязана; тонкая, как девка, Анна доит ее.

— Иди-ка в чум, отгони собаку,— сказала она каким-то особым голосом, ласково так сказала, нараспев.

— Геть!— войдя в чум, крикнул Василий.— Геть!— собака стоит над разостланной у костра шкурой и, крутя хвостом, что-то обнюхивает. Присмотрелся Василий, языком прищелкнул и пал на колени перед маленьким своим сыном.

— Анна! Анна!— закричал он.— Гляди! Сын родился.

Когда вошла Анна и улыбнулась, в чуме сразу светлей сделалось.

И стал Василий отцом. Теперь ему никого не надо, кроме Анны и маленького Ниру. Забыл Василий про Чоччу, совсем забыл.

А Чоччу в тот самый день, когда откочевал сюда Василий, пришла налегке к опустевшему стойбищу.

— Нету...— Сказала Чоччу и, вернувшись домой, три дня не ела, не пила.

Месяц дожидалась, вот придет,— другой дожидалась, да еще, да еще.

— Бросил,— сказала Чоччу.

И как сказала себе это слово, будто бы легче сделалось, а потом опять... Такая тоска... эх, лучше в землю...

Каждый вечер подходила она к высокому шесту с жертвенной кожей наверху, подшибалась ладонью и долго шупала осиротевшими глазами таежную тропу. Смотрит и поет, и причитает, а слезы сами собой текут, и дрожит сердце.

«Та сторона далекая... Там Василий... Вот щеки мои завяли, вот губы высохли... А Василья нет. Я вскочу на самого быстрого оленя, скажу ему: ищи, олень, милого... Олень, олень! Взвейся над тайгой, отыщи моего милого... Нет! Стой, олень, стой смирно!.. Забыл, пусть забыл... Я буду одна... Пусть тайга кругом гудит, пусть медведь бродит... Я буду одна...»

Чоччу утирает слезы, гонит прочь подвывающую ей собаку и вновь жалобно:

«Ой, ветер, не шуми хвоей!.. Скажи, ветер, сердцу — может, послушает — пусть молчит: одной лучше... Я одна, совсем одна... счастливая! Разве ты не знаешь, ветер, какая я счастливая...»

IV

Лето прокатилось, осень на исходе. Василий все еще на севере. Первый снег на хребты, на полянки пал, болота подстыли, мерзлая трава под ногой хруст дает.

— Ну, как — ничего?— спросила однажды Анна и, оторвав от груди черноглазого Ниру, долго целовала его в крохотный влажный рот.

Василий не понял, о чем спросила Анна, и, растерянно улыбаясь, ответил:

— Ничего.

— Ничего? Забыл?

— За-а-был...— махнул рукой Василий и пощекотал травинкой в носу Ниру. Тот скосил глаза на травинку, чихнул и заегозил кулачками возле носа, пуская пузыри. Анна и Василий громко засмеялись, а Ниру забрал в рот свою ногу, стал ее сосать и радостно гулякать.

Утром Анна переспросила:

— Забыл? Верно?— и долго, пристально глядела на Василия.— Лови оленей, выючь. Нюльгирить будем.

— Куда?— как и в тот раз, удивленно спросил Василий.

— Ербогоч-ду... в Ербогоч, на ярмарку. Ничего у нас нет, все кончилось, надо к купцу идти, надо пушнину торговому тащить.

Дорогой их захватила стужа. Василий, как всегда, шел впереди, прочищал тропу, за ним верхом Анна, за ней на отдельном олене, болтаясь справа у седла,— Ниру. Его положили в лубочный коробок, на дно постлали коричневой трухи от сгнившей древесины, чтоб было мягко. Он кое-как прикрыт оленьей шкурой, но его грудь голая.

Он почти всю дорогу спит, а то вдруг зальется звонким плачем.

— Не слышишь?— кричит Василий Анне.

Та ударяет пятками по шее оленя: «Ко! Ко!»

— Не слышишь? Ревет...

— Пускай греется,— равнодушно отвечает мать, а Ниру наплакавшись вволю, замолкает.

Анна тогда сосакивает, привязывает к дереву оленя и вытаскивает полуголого Ниру из зыбки. Тот весь дрожит, но, почувяв грудь матери, с урчаньем и хрипом, как голодный волчонок, жадно нащупывает сосок и начинает, захлебываясь и сладко жмурясь, глотать теплое молоко.

Вьюга крутит и вое. Снег белой тучей носится по поляне. По сторонам гудит и гнется тайга. Огромные, оторванные ветром сучья, распластав хвою, проносятся над остановившимися тунгусами. Олени сгрудились и, подставив ветру зад, роют копытами сугробы.

Василий стоит возле Анны, прищелкивает языком и сглатывает, наблюдая, как сосет Ниру.

— Замерз?— спрашивает любовно Анна, ежась от холода.

— Борони бог! Жарко...— от Василия идет пар. Он устал, шагая по сугробам, его голова, повязанная красным платком, вспотела.

Шли долго. Вставали до солнца, оленей собирали и приготавливали в путь к полудню, а шли весь день дотемна. Но проходили верст пятнадцать-двадцать.

Облюбовут где-нибудь место,— сумерки, солнце давно село,— остановятся на ночлег. Снег выше колен — расчистят, поставят чум, набросают внутрь мелких хвойных веток и запалят костер. Тепло тогда в чуме. И если поддерживать огонь, тепло будет всю ночь. Но ночь для сна — в чуме к утру холод, как в тайге.

Пока готовят стойбище, Ниру стоит дубком в своей зыбке, внаклон прислоненной к сосне. Возле — костер-гуливун. Стоит Ниру один долго. Стоит, на пламя смотрит, на игривые золотые языки, и прислушивается к их говору, и улыбается, довольный льющимся на него теплом. Наскучит смотреть — заплачет, наскучит плакать — примолкнет, гулять начнет, а то углядит косо прорезанными глазами висюльку в зыбке — тянется голой рукой и норовит заграбастать в рот.

А ночью Ниру спит хорошо, иногда во сне улыбается, отчего на смуглых, замазанных грязью щеках его — маленькие ямочки. Но никто не видит, как спит ночью Ниру, потому что ночью все крепко спят: собаки, олени, люди; только сторожевой пес, соблюдая собачью очередь, бегает дозором кругом тихого стойбища.

Были ночи звездные, но без месяца, темные. Были ночи с каленым холодным небом, с каленым месяцем, звезды тогда стояли четкие, крупные, мороз трескучий, палящий. Весь снег в алмазах, в блестящем бисере, и ночь казалась светло-голубой.

А то тихий снег всю ночь падает, тепло стоит — ночь мутно-белая. А то буран всю гуляет: и крутит, того гляди сровняет с сугробами тунгусский чум.

Долго тунгусы тянулись. Шли, шли — много тайги осталось сзади. Шли, шли, шли — расступилась тайга, просторно стало, пред ними поля легли. Остановились.

— Это что ж такое? — Василий разинул рот и указал на каменную, видневшуюся за рекой церковь.

Анна — человек бывалый. Она чуть презрительно, сверху вниз смотрит в смущенное лицо Василия, все еще стоявшего с удивленно открытым ртом.

— А ты не знаешь?

— Нет.

— Ах, боёе, боёе!.. Там Никола живет, русский бог Никола-матушка, — говорит она по-русски.

Василий прищелкивает языком, качает головой и вдруг совершенно пораженный, замирает. Со стороны села прогудел и растаял удар большого колокола. За ним другой, третий. Удар за ударом густо колыхали воздух, словно огромный шаманский бубен рокотал над тайгой.

— Это что же такое? — круто повернув назад оленя, готовый кинуться в тайгу, спросил Василий.

— Колёколь!.. Колёколь!.. — радостно кричала Анна. — Бумм!.. Бум!.. — и, соскочив с оленя, подбежалал к Василию.

— Колёколь!.. Слезай!..— стащила его на землю.—
Пляши!— смеясь, тормошила она мужа.— Колёколь!.. Бум!
Бум!

Василий весь просиял, глаза от широкой улыбки скрылись, он схватил за руки Анну, и оба, в огненных лучах заката, принялись кружиться и на разные лады повторять:

— Бумм!.. Бум!.. Колёколь!.. Колё-околь!.. Бумм!

Заря была золотая, с красной по краям кровью.

V

Ярмарки не застали. Купцы разъехались. Пушнину сдать некому. Вина достать негде. Анна долго горевала.

Стойбище Василия было за рекой, в двух днях от села; Василий стрелял белок, ловил кулемками лисиц, колонков и горностаев. Анна иногда заглядывала в село, продавала там крестьянам меховые чиккульманы и рукавицы, шитые бисером потакуи¹, а оттуда приносила муки, чаю, сахару.

Ниру перед весной начал ходить. Он вставал на четвереньки и, одобрительно крякнув, тихонько приподымался. Он бродил по чуму, хватаясь то за мать, то за отца. Но за чумом он не бродил, а ползал по оттаявшей, покрытой хвоей земле и нередко сражался с собаками, отнимая у них кости.

Собаки всегда были к Ниру почтительны. Когда он подымался на кривых ножках, держась за собаку, та смиренно стояла, поджав покорно уши. Когда он падал, собака тщательно облизывала ему лицо, и Ниру приползал в чум чисто вымытый.

Отец делал ему из тряпок кукол, из дерева птиц и оленей, а иногда игрушками ему служили отрубленные утиные носы.

Анну все теперь радовало: как-то по-особому блестело солнце, веселей пели прилетевшие издалека птицы, и Анне самой хотелось песен и любви.

Однажды ночью Анна вдруг проснулась в какой-то смутной тревоге. Полежав немного с открытыми глазами, она быстро поднялась и неслышно скользнула за чум. Прислушалась, вздрогнула, пошла в тайгу.

Было пасмурно. Начиная моросить дождь. Тьма была.

От холода заплакал Ниру. Он подполз к отцу и стал открывать ему глаза, подковыриваясь пальцами под веки. Василий проснулся, разложил костер, тепло стало, и Ниру уснул.

¹ Потакуи — берестяные, покрытые оленьей кожей сумы.

Лишь перед рассветом вернулась Анна.

— Я тебя долго ждал.. всю ночь... Где была?

Анна глубоко дышала, ноздри вздрагивали, раздувались, лицо было красное от возбуждения. Она, согнувшись, сидела у костра и жадно затягивалась трубкой.

— Оленей, что ли, волк пугал?

Анна молчала. Наконец криво усмехнулась и насквозь пронизала Василия колючим взглядом.

Она молчала целый день, а вечером, перед сном, вдруг захохотала каким-то не всегдашним смехом и нараспев сказала:

— Бойе... Ах, бойе!.. Это я так, бойе... Не бойся! Просто сон худой видела... Очень худой сон. Ха-ха-ха!.. Вот ночью бегала...— Лицо ее стало угрюмо.

Она укрылась паркой, легла спиной к костру и обняла Ниру.

Василий лег, плотно прижавшись к Анне. Они всегда так спали рядом, но головами врозь, и возле лица Василия приходились выглядывавшие из-под парки маленькие ноги Анны.

Василию не спалось. Он ворочался с боку на бок, в кровь поцарапал бока и голову, громко и протяжно зевал. Анна храпела. Василий тихо встал, оглянулся на Анну — спит, и побрел в тайгу на лай собаки.

Вслед за ним вскочила Анна. Она — кошкой к дверце и, выставив голову, чутко насторожилась.

Было очень тихо. Только собака надрывисто лаяла и доносился придавленный окрик:

— Геть!..

Анна схватила пальмý. Пальмá тупая. Схватила топор. Она только что выменяла его у мужика, топор острый,—и кинулась в тайгу.

— Пойдем дальше!.. Она увидит...— стуча зубами и весь дрожа, говорил Василий.

— Пойдем ко мне, бойе... Пожалуйста, пойдем... близко...— звала Чоччу.

— Боюсь... Дознается.

Они стояли друг против друга, и огонек двух вспыхивающих трубок слабо освещал их тревожные лица. Василий видел, как по щекам Чоччу катятся слезы. Он ласково потрепал ее по плечу. Должно быть, сорвалась вблизи сова: крикнула, словно простонала.

— Пойду домой... После,— вздрогнул и заторопился Василий.

Подойдя к чуму, он чиркнул спичку и осветил внутри. В костре золотились угли. Анна так же спала, всхрапывая и

шевелия губами. Сердце Василия забилося ровнее. Он лег возле жены и долго думал.

— Анна!..— наконец тихо дотронулся он до ее ноги.

— Ну?

— Ты не сердись, Анна... Вот я тебе буду толковать... Ты слушай...— И опять язык не может как следует работать.

— Ведь ты знаешь, Анна? Она здесь... Ты все знаешь, Анна.

— Кто? Родня?— спокойно сказала Анна.— А ты ее видал, бойе?

Василий засопел и подавился кашлем.

— Я... я... она близко... Я оленя ее видел, учуга...

— Ты оленя, бойе, видел?

— Да... оленя... И еще собаку... Собака лаяла.

— И собаку, бойе, видел?

— Да, и собаку... Она бежала возле Чоччу... А Давыдиха, Чоччу-Машка, искала оленя... А собака лаяла...

— А ты?

— А я... я...— Василий часто замигал и отодвинулся от Анны.— Мой язык дурак. Он не то плетет. Он зря толкует... Ты его не слушай, Анна! Он дурной... Я никого не видал, Анна!

— И что же она тебе толковала?

— Я видел ее оленя.

— И зачем она тащила тебя в свой чум?

— Ты знаешь?— приподнялся Василий.— Тебе сон снился?

— Да, бойе, сон... Мне сон снился...

Они оба промолчали до рассвета.

Их разбудил закатистый плач Ниру. Он сидел на потухшем, но теплом еще костре, на груди серого пепла и подбирал себе в рот черные угольки. Но вот, копошась в пепле, он нашел золотой уголек, красивый, и, крепко зажав его в руку, надрывался плачем. Не сразу догадались, что с Ниру, и когда разжали ладонь, она была красная, как прожаренное с кровью мясо.

Ниру намазали руку оленьим салом, завязали грязной тряпкой. Василий и Анна всячески старались утешить его и рассмешить.

Когда Василий, изображая сучку Камсу, стал на четвереньках ходить возле Ниру и тявкать, прищурив для большего сходства с кривой сучкой свой черный глаз, Ниру оборвал плач и засмеялся.

— Пойдем к родне,— сказала Анна спокойным ровным голосом, но левая бровь ее дрожала, а губы были плотно сжаты.

— Ладно. Пойду оленей ловить.— Василий старался казаться равнодушным, но голос его осекся.

— Пешком пройдем... Близко.

Они взяли Ниру и отправились в путь.

Анна шла впереди, уверенно, твердым шагом, словно много раз бывала у Чоччу. За плечами ружье, в зубах трубка, в руках пальма.

Небо было безоблачно. Выходило солнце. По опушке леса и у голых пней пестрели расцветающая саранка и желтый лютик — колдовской шаманий цвет.

Показался голубой дымок. Запахло жильем. Навстречу кинулась ошестинившаяся собака и громко залаяла на Анну. А перед Василием повалилась кверху лапами и заюлила.

Василий сердито пнул ее ногой и что-то буркнул,— Анна скосила на него глаза и язвительно засвистала.

— Что встал, пойдем!— крикнула она и уверенным шагом двинулась вперед.

Чоччу была больна. Она лежала в чуме, укрывшись паркой. Анна и Василий молча сидели возле нее и курили. Анна передала свою трубку Чоччу, и та, покурив, вернула Анне.

— Вот маленько кудой стал,— печальным голосом начала по-русски Чоччу,— маленько не славный, тошно... Хвораль... одна...

— Одна... куда попало... плохо!..— уныло подхватил Василий.

— Плохо... Совсем маленько плохо... Борони бог!— подтвердила Анна, следя за мужем. Но тот сидел с опущенными глазами.

Анна пытливо разглядывала Чоччу и сравнивала с собой.

Ну, конечно, Анна красивее. У Анны нос приплюснутый, лицо скуластое, румяное, губы маленькие, алые. А Чоччу... Ну, чего там про Чоччу толковать. Анна успокоилась и стала готовить обед.

Обедали молча. Но когда хозяйка вытащила из потакуя остаток спирту, все враз заговорили.

Ниру тоже тянулся к бутылке. Но, чуть глотнув, он несколько мгновений сидел с открытым ртом и с изумленно вытаращенными глазами, потом круто уткнулся в грудь матери,

пободавал головой и отчаянно завыл, высоко подняв больную обмотанную тряпкой руку. Анна, смеясь, схватила его в охапку и стала баюкать.

— Оеей!.. Ниру огненной воды хватил!.. Оеей. Ниру пьяный!..

А Василий вставил в его рот свою трубку и сказал:

— Чего гаркаешь? На, затянись!

Ниру пососал губами и, проглотив дым, закашлялся.

— Ничего... ладно... другой год идет. Учнись!..— смеялся Василий и вновь совал ему в рот трубку.

Чоччу сидела печальная, с повязанной головой.

Вечером Анна сказала:

— Надо одному остаться. Хочешь, оставайся?— взглянула она на мужа.

— Нет, я домой,— напряженно сдвинув брови, ответил Василий.

Он встал и вышел, ни на кого не взглянув.

Василий один прожил двое суток. На третий день зазвенели медные ботала оленей — женщины пришли.

— Вот... родня...— сказала Анна Василию. Иди, ставь ей чум.

Чоччу выбрала невдалеке моховую поляну, чтоб был оленям корм.

Так стали жить трое, четвертый Ниру, опять в одном стойбище. Анна, как зверь по следу, выслеживала каждый шаг Василия. Тунгус это чувствовал и следил за собой, как лисица следит, заматая след хвостом.

Чоччу брала, что можно, и чувствовала себя поразному. Когда, крадучись, сидят они с Василием темной ночью, молча сидят, думают — хорошо тогда Чоччу. Но это бывает редко,— так редко, лучше б и не было.

Однажды, когда земляника вызреть стала, зашел к ним мимоходом тунгус Пиля, лохматый, страшный, Ниру очень его испугался.

— Чего в село не идете? Торговый сверху на шитике прибежал.

— Торго-овый?!— протянули враз тунгусы.

Им надо идти с большим караваном к торговому. От пушники у них лабаз ломится: два года не сдавали.

Но Ниру ночью захворал: то ли Пиля его ушиб худым глазом, то ли спелой земляникой объелся, лежал весь горячий и стонал. Ну что ж, захворал так захворал, пройдет.

Послали за вином Пилю. Сел Пиля на оленя и на другой же день под вечер привез четверть спирту. У Пили — пальма да трубка... Было ружье, но он его пропил. Ему все равно, где жить. Остался он у Василия.

VI

Пировали у Анны с вечера до утренней зари. Пели песни, объедались олениной, ссорились, мирились, хохотали. Чоччу была грустная. Когда пели песни, она как-то по-особому грустно смеялась либо плакала, размазывая по лицу слезы.

— Чего реवेशь?— кричал Пиля.— Ты вдова, я вдова... Давай вместе!— и лез к Чоччу целоваться.

Василий тяжело задышал, быстро схватил Пилю за ноги и сильным броском перекувырнул его.

— Пошто бьешь?!— визжал Пиля, отдирая руки Василия от своих черных растрепавшихся кос.

Анна схватила чашку вина, залпом выпила, а остатки плеснула в глаза Василию.

— Кок!— крикнула Чоччу. Она хотела броситься к Анне, но остановилась и горько заплакала, тыкая пальцем в ее лицо:

— Ты!.. Ты!.. Все ты!.. Ну, ладно... Вот ужо...

Однако все скоро успокоились. Хмель свалил всех. По чу-му — храп и бормотанье.

Ниру тормозил мать, плакал, злился, кричал. Мать не откликалась. Ниру, боязливо оползая храпевшего с разинутым ртом страшного Пилю, подполз к отцу. Но и от него ничего не добился.

Ему очень хотелось есть. Сидя возле отца, он поднял вверх голову и долго выл диким, без слез, голосом. Взгляд его упал на большой котел, у которого, крутя хвостами, работали собаки,— Ниру весело крикнул: «У!»— и заулыбался. Он подполз к котлу, ухватился за его края и поднялся между кривой Камсой и черным трехпалым кобелем.

— У!— вновь крикнул он, заглянул в котел и потянулся за добрым куском мяса. Тут Камса лизнула его в самый рот. Ниру чихнул, покачнулся и заплакал. Но сквозь слезы увидел полуобглоданную кость, схватил ее и стал сосать, зажмурясь и урча. Собаки подняли возле котла грызню. Ниру со страхом отполз в темный угол и забился между сумами.

— Геть! Геть!— заорали враз четыре оторвавшиеся от земли головы и тотчас же упали. Собаки воющим, визжащим клубком выкатились вон.

— У!— одобрительно сказал Ниру и пополз к большому куску сахара.

На другой день, когда Ниру уснул, Василий с Анной пошли в гости к Чоччу.

У Василия болела голова. Анна опохмелилась и шагала бодро.

— Отчего не пошел Пиля?— спросила она.

— Не надо... Больно худой... Больно лезет...

— Ты ему вырвал косу.

— Пускай!

— Чоччу возьмет его к себе.

— Она тебе сказала?

— Знаю.

У Василия пальма острая. Силы в ней сегодня много. Вот только голова... Он шел впереди Анны и разговаривал с ней через плечо.

— Ты врешь,— сказал он раздраженно и ударил пальмой по осине. Ствол дерева толстый. Крякнула осина, но не свалилась.

— Врешь!.. Дурачишь!..— крикнул он и ссек осину.— Я вижу...

— Как ты видишь, если я плеснула в твои глаза вином?

Василий вмиг вспомнил это, испуганно схватился за глаза, чтоб удостовериться — целы ли? И ему сразу показалось, что он плохо видит. Тайга стояла перед ним сплошной серой стеной, все как-то посерело вдруг и задрожало.

— Вот слепиться буду... Как тогда?— сглатывая накопившуюся обиду, сказал Василий тонким голосом.

— Слепиться?— равнодушно переспросила сквозь зубы Анна и пнула ногой большой красный мухомор.— Носом учуешь... На-а-й-дешь!

— Кого это?— крикнул Василий, а сердце его застучало. Перед ним замелькало грустное заплаканное лицо Чоччу, встали в памяти ее слова и вся их былая жизнь. Если Анна не хочет жить вместе — он останется с Чоччу, возьмет Ниру и останется.

Василий хрипло вздохнул, пропустил жену вперед, закурил трубку и до самого стойбища шел понуря голову.

— Я сегодня богатая... Ха-ха!.. Я сегодня веселая!— встретила их Чоччу.— Давайте весело гулять... Давайте вино пить. Сегодня веселая будет ночь.

Она нарядилась во все лучшее. Синий, весь в позументах, камзол, большой крест на бисерном нагруднике, крупные

серьги в маленьких ушах, туго закрученные, сложенные на голове косы.

— Давайте не в чуме. Давайте под сосной... Ночь теплая.

Чоччу, чуть откинув стройный стан, легкой поступью ходила от чума к сосне, где разложен огромный костер.

Анна была молчалива. Она, прищурившись, с злобной завистью смотрела на Чоччу.

Сегодня Чоччу красивее ее.

— Ну, чего ты? Пей!— весело крикнула Чоччу.

Анна выпила, крикнула и подала чашку:

— Еще!— выпила, крикнула.— Еще!! Давай скорее еще!

— Станем песни петь!— сказала задорно Чоччу.

— Какие песни? Тунгус не знает,— говорил Василий, обгладывая кость олененка.

Все были вполпьяна.

— У меня своя есть... Хорошая есть...—поднялась Чоччу, утерла рот рукой, оправила волосы, но, окинув Василия тоскующим, ревнивым взглядом, вновь села.— Я когда пью одна, всегда плачу... Я всегда одна... Была вместе, стала одна... Ну вот, буду петь...

— Эй, месяц,— взмолила Чоччу зыбучим гортанным голосом и подшиблась рукой.— Золотой мой месяц!.. Ты один!.. Нет у тебя солнышка, ты один... Ой, месяц, я одна!.. Милый был, да нету — я одна!..

— Дай еще!— протянула Анна чашку.

Анна выпила и повалилась на бок, обхватив руками голову.

Она немного полежит и пойдет домой. У ней томится сердце. Она пойдет домой и нарядится в сто раз лучше Давыдихи... У ней соболья шапка, серебряный чеканный пояс, у ней золотые кольца... Она возьмет Ниру, маленького любимого своего смешного Ниру, оседлает серебряным седлом оленя и помчится в ту сторону, где солнце спит: она устроит чум и будет там жить. Мимо их чума пройдет молодой тунгус: «Эй, боее, стой!» Остановится тунгус, красивый, улыбочивый... «Я, боее, умею хорошо ласкать... У меня был один — мой, стал не один — чужой... Вот я ушла. Если ты один, если вольный, оставайся, боее!..» Да, она сейчас встанет и пойдет. Вот и месяц смотрит, и месяц зовет ее, мигает. И Чоччу над ней смеется, воет про себя, скрипит... И Василий шепчет ей... Пусть!

— Не реви, не гаркай...— шепчет Василий.— Пусть уснет.

— Как узнаешь, спит ли?

— Я узнаю.

— Анна! Эй, Анна!— кричит Чоччу.

— Разбуди, спит. Дай ей вина. Тащи за косу.

Анна подняла, не раскрывая глаз, голову, нащупала протянутую чашку, выпила и еще крепче уснула.

Василий сидит, покачиваясь, в обнимку с Чоччу; голова его валится на грудь. Чоччу шепчет:

— Теперь вместе... Как раньше, бое... Как до Анны!.. Уйдем, бое. А погонится, скажем: уйди прочь! Я, бое, рожу тебе сына... Он будет наш... Давай, я тебя буду целовать...

— Услышит... Она — змея!

— Тьфу!

— Она тебя испортит!

— Я ее закляну... Давай, бое, целоваться!

— Нет!.. Костер яркий... Месяц светлый... Не надо!

— Пойдем, бое, в чум...

Василий тяжело поднялся, потоптался пьяными ногами возле спящей Анны и — к реке. Встав на колени, он по самые плечи погрузил хмельную голову в студеною воду. Если б не страх, он долго пролежал бы, не отрываясь от воды. Страшно вдруг сделалось: сзади шайтан крадется — сгребет за ноги, бросит в омут. Василий вскочил, зафыркал, поплевал во все стороны и, обирая с черных своих кос воду, побежал к Чоччу в чум.

Он с опаской вошел туда. Чоччу, разметавшись, лежала на мягких пахучих хвоях.

— Бой-ой-е!— иволгой прозвучал ее голос.

Костер ярко горит, теплом на спящую Анну пышет. Звезды по небу узоры развели, разбросались золотым песком по синему. Месяц меж ними тихо продвигается, грузным светлым колесом к тайге клонит.

От костра уголек горячий — шелк!— да прямо Анне на лицо. Вскочила, отряхнулась, почесала обеими руками волосы и села. Пустая четверть с опрокинутыми чашками блестяли, двигались в дрожащих лучах огня. У Анны сами собой закрылись глаза, а тяжелая голова вновь устало приникла к земле. Но вот Анна быстро со стоном поднялась и дико осмотрелась. У костра валялся камзол Василия, его кисет и трубка, а поодаль — шитый позументами камзол Чоччу. От яркого пламени кругом темно. Анна, пошатываясь и натываясь на пни, обежала вокруг костра. Нету!.. Она сдернула с кучи потакуев лосиную кожу — нету!.. Она метнула взглядом по освещенным стволам сосен — нет пальмы Василия!.. Где пальма? Где топор? Нету! Сунула за голенище руку — нет ножа!

И как-то сам собой прошел весь хмель. Прихлынула к глазам, к рукам, к голове, к сердцу сила, а ноги пропали, их будто нет, совсем нет. Анна над землей птицей летит к чуму. Как вобрала в себя воздух, не может выдохнуть. В руках в огненном золоте большое из костра полено.

Отпахнула полу чума, зашаталась.

— О-гый!.. — и, размахнувшись, швырнула в спящих пламенным поленом.

— Шайтан! — без памяти заорал Василий. — Огоны! Огненный змей! Чоччу! Вставай! — не заметив Анну, он, все опрокидывая, прорвал стенку чума и бросился в тайгу.

Огненный шайтан, растопырив крылья, настигал его. Василия кидало то в жар, то в холод и захватывало дух. Напролом, забыв тропу, он мчался из чума Чоччу к себе домой: шуршала хвоя, с хрустом ломались сучья.

— Догоню! — выл огненный шайтан и каркал вороном. У Анны глаза волчьи: и в темноте видят каждый скок Василия, стерегут каждую его увертку. По пятам гонится, устала.

Вдруг Василий пропал. Собака хамкнула... там, в чуме...

— Ага!.. В мой чум вбежал! — показалось Анне.

Она схватилась за сердце и, словно стрела из лука, влетела в свой чум.

Как рысь бросилась к сундуку, где был топор, как рысь нащупала во тьме изголовье мужа:

— А-а-а!.. Спишь? Прикинулся?! — И со всей силы в испуге хряснула топором. И вдруг завизжала, загайкала, безумно, страшно...

Василий меж тем весь обомлел и сжался. Он и не думал вбегать в свой чум, это так лишь померещилось Анне. Он в это время ничком лежал в берлоге, куда провалился, спасаясь от огненного змея.

— Шайтан! — чакнул он зубами, прислушиваясь к вновь наступившей тишине. Ему все еще спяну чудился крылатый змей, что лизнул его пламенем там, у Чоччу, а по дороге чуть не слопал. Где же Чоччу, где Анна? Хоть бы пришли скорей!.. Василий крепко зажмурился, но шайтан, виляя желтым хвостом, ходит взад-вперед под самым его носом.

— Агык! — гортанно рычит Василий, весь вминаясь в землю, и пьяным языком через силу бормочет заклятые слова.

В ушах звон: где-то гудит-рокочет бубен, потом все рассыпалось черными искрами и разом сгнуло.

VII

Когда проснулся Василий и высунул из берлоги голову, кругом бело от холодного тумана. Он вспомнил про вчерашнее и боялся вылезти.

— Анна!— позвал Василий. «Вернулась ли? Или все еще там, у костра спит, не проснется?»—подумал он.

Василий знал, что в трех днях отсюда есть каменная сопка, где живет огненный змей — шайтан. Когда пролетает он, вались скорей в яму, не дыши, заткни уши мохом, заткни ноздри мохом, умри — не заметит, прокатится.

Василий долго лежал в яме и когда вновь высунул голову — тумана не было. Он сразу узнал свое место: олени бродят, недалеко чум стоит,— и вылез из-под корневища.

— Омко-омко!.. Боллей-боллей!.. Помогай!..— он зорко огляделся.

Все тихо было. Огненного змея нет. Вставало солнце. Он подошел к своему чуму. В чуме тихо.

— Анна!.. Ниру!..

Тихо. Не шайтан ли передал их? Василия забила дрожь. В чуме зарычало. Василий отпрыгнул и побежал к сосне. Шайтан! Из чума вышли две собаки. Они, насторожив уши, подбежали на робкий свист хозяина и, облизывая морды, кинулись к нему ласкаться. Василий приободрился, зашагал к чуму.

Вплотную подойти страшно: пожалуй, там шайтан... Кончиком шеста он отпахнул полу чума и, присев, заглянул туда. В чуме полумрак.

— Анна!

Анны нет. Он метнулся к зыбке.

— Ниру!

Ниру нет.

Он пал перед своей меховой постелью и вдруг с звериным стоном опрокинулся на спину, словно его кто швырнул. Весь от пепла серый, волосы дыбом, глаза дикие — он вскочил и помчался к Чоччу. Бег его неверный, заполошный, зыбкий.

Дотемна искали Анну, охватив тайгу большим раскидистым кольцом, охрипли от крика, изморились и лишь ночью замкнули круг.

Костер разложили — огонь не греет, пламя яркое — свету нет. Сели рядом, согнулись, сжались. Холод кругом, душа вся в холоде. Голоса их тихие, руки дрожат, губы прыгают.

— Беда,— шепчет Чоччу и вздыхает.

— Чисто беда!..— шевелит губами Василий.

— Отдохнем мало-мало, опять пойдем,— шепчет Чоччу.

— Опять пойдем,— шевелит губами Василий. Он не понимает, что говорит Чоччу, и не слышит, что отвечает ей.

— Найдем, жалеть будем... беречь будем...—тоскливо тянет Чоччу.

— Будем... беречь будем...

Месяц выплыл холодный, белый. С речки, с мочажин туман ползет.

Анна едет на олене, самом крепком, самом быстром. Она в полном своем дорогом наряде, в соболях, серебре, бисерных висюльках. Лицо румяное, глаза блестят, губы улыбаются... Анна едет на олене и всех спрашивает:

— Где дорога к милому?

Сосна мохнатой лапищей указывает: там! Белка хвостом крутит: там, филин перед ней летит, нетопырь вьётся: там, там! А впереди лесной хозяин-батюшка, Боллей на карачках ползет, бородой метет тропу, пятками пни выворачивает. Анна смотрит на него, беспечно улыбается.

Ниру с ней. Она его очень любит. Бедный Ниру: с ним стряслась беда. Если он молчит, это ничего. Он спит, он будет долго-долго спать. Его разбудит шаман, самый сильный, какой только есть на свете.

Вот уже завтра, вот вчера, вот через месяц... когда золотой месяц умрет-родится, когда вольный месяц подопрет своим острым рогом небо, где большая-большая звезда стоит, божий глаз, тогда она придет к милому, к прежнему... Она скажет своему милому: «Вот я пришла!» Она скажет милому: «Вставай, зачем умер, зачем закопался в землю — ты живой!» Она скажет: «Вот Ниру... Мой Ниру спит... У меня нет Ниру... Когда течет из сердца кровь, хорошо быть возле милого... Тише, тише... Не будите Ниру... Тише!...»

Анна погоняет оленя, губы ее улыбаются, но слезы льются из черных глаз.

— Вот погоди, Ниру, вот приедем!.. Любишь ли ты мое молоко, Ниру?— Она остановила оленя и распахнулась. Она нажала грудь, из соска брызнуло ей в лицо молоко.

Комары густым роем жадно пили кровь Анны, она не замечала. Комары так насосались крови, что уж не могли слететь, и красными, кровяными, блестящими ягодками лениво унижали ее лицо, грудь, плечи. Как во сне провела Анна по лицу рукой, лицо и рука вдруг покрылись кровью. Кровь была свежая, Аннина, не застывшая. Она ярко-красными свежими подтеками, со следами раздавленных комаров легла на засохшей крови, вчерашней, ночной, что густо покрывала кисти ее рук.

— Ниру!.. Ниру!..— воркует Анна и развязывает суму, где сын.

Ниру лежит смирно — спит... Пусть спит, его разбудит страшный шаман. Встряхнет бубенцами, звякнет колокольцами, ударит в бубен — гром пойдет и грохот. Тогда мертвый Ниру, может быть, проснется.

Анна быстро сбежала в луг и вернулась с цветами.

— На, Ниру, играй!..

Но Ниру не открыл глаза. Он никогда больше не проснется.

Крепко завязала суму Анна, подвела оленя к пню, вскочила верхом и, малоумно улыбаясь, двинулась дальше, в тот край, где рождаются утренние зори, в ту сторону, где непробудно спит, зарывшись в землю, милый.

ЗОЛОТАЯ БЕДА

I

Еще октябрь не изошел, а Якутский край весь забросало снегом. Вечно мерзлая, лишь на аршин оттаивающая летом почва вновь превратилась в камень. Лену сковал мороз, и по ее белой глади стегнула вихлястая дорога. Из улуса в улус, с берега в берег пролегли тропинки, и вдоль их выросли зеленые вехи-елочки.

Вчера солнце встало «в рукавицах», а к ночи ударил мороз с дымом.

Но якут Николка мороза не боится. Что ему мороз? Хе-хе!.. В мороз человек крепче делается, ноги прытче, дорога короче. Хо! Зимой ноги сами мчат. Им только глазом моргни — куда, — они уже свое возьмут. Прытко-прытко, где шагом, где скоком, только елочки мелькают, летит, бывало, Николка, загребая снег кривыми своими, как дуга, ногами. Зимой знай нос береги: натри медвежьим салом, да шибко-то не выставляй, не то мороз, словно кошка когтем, шибанет по самому кончику, нос сразу белым станет, а придешь в тепло — клюква на носу выскочит.

Николка сидит возле своего чума на здоровом пнище, щурит раскосые глаза на красное, в рукавицах, солнце и сладко позевывает. А в голове его бродят думы о том, как бы хорошо вяленого оленьего

языка отведать, да нельмовых пупков жирнущих всласть поесть, да взять бы жирный-жирный кус говядины, да лепешек ячных, чтобы в масле жмыхали. Обожраться бы донельзя, а сверху все прикрыть крепким кумысом!

— Якши, якши,— сглотнул Николка слюну и зажмурился. В носу у него защекотало приятным сытым духом. Он сладко помолсал безусыми губами, прищелкнул языком и сплюнул.

Эх, не надо бы Николке глаза открывать! Открыл — все пропало, сытый дух кончился, а кривые тонкие ноги вдруг выступили из-под вытертой оленьей парки. Взглянул Николка на свою нищенскую одежду — вздохнул; взглянул на свою дырявую юрту — вздохнул поглубже. Перевел взгляд на дорогу: прытко-прытко, где шагом, где скоком, только елочки мелькают, движется его отец, старый якут Василий, такой старый, что уж... а все еще в себе крепкий дух держит.

Николка сердито сорвался с места и скрылся в чаще.

Ведь Николке сорок два года, говорят, стукнуло. А кто он,— ну, кто он такой?.. Человек он или так себе, вроде дикого оленя? Он так беден, так беден, что ни одна девка за него не пойдет. Зато у отца... ху-ху... деньжищ, что желтых листьев осенью! А оленьей, а коров! Только крепок, старая лиса, ужимист: продаст сотни две голов, наострит лыжи в лес, в тайгу; отыщет потайное место, к куче золота еще пригоршни прибавит.

А дома чем батька его кормит? Пошто такое у Николки ребра вылезли, как у зачумелой собаки? Пошто Николкину мать безо времени на погосте закопали? Пошто Николкина сестра в чужих людях горе мыкает?

— Старая лиса!.. Шайтан!..— шипит притаившийся Николка.

Ему вдруг необычайно захотелось есть. Надо пойти в юрту — наверное, отец пьет там вино. А когда он пьет, о-о!.. тогда, может быть, баранью ногу даст...

— Ты всегда один пьешь. Ты должен меня угостить: я твой стада пасу... И я твой сын.

— Псс!..— презрительно просвистал сквозь зубы старик и проглотил добрую чепурушку водки.— Когда Николка станет умным, он будет богатым... Когда Николка будет богатым, он сможет пить сколько влезет...

Николка опустился на земляной пол, между пылающим камельком и дверью, ведущей в огромный

хлев. Дверь настезь. Из хлева несло навозом и парным молоком.

— Николка тогда будет богатым,— чуть дрожа, сказал он,— когда укараулит, где его отец прячет золото.

— Дурак,— сердито сказал старик и, задрав вверх скуластое лицо, забулькал из бутылки.— Самый дурак!

— Может быть, и дурак... Но не дурашней сына моего дедушки,— съязвил Николка, косясь на вытянутую журавлиную шею отца, по которой прыгал синий, в пупырышках, кадык.

Николка, глотая слюни, хотел еще кольнуть отца каким-нибудь обидным словом и уж рот раскрыл, да в это время корова просунула из хлева голову и лизнула Николку в самый нос.

— Ксы!— крикнул он и утерся рукавом.

Отец закатился дробным смехом и, протирая кулаками глаза, засюсюкал:

— Очень хорошо умыла тебя корова!..

— Хе-хе!..— зло ответил Николка.— Ты хорошо выпил, а я хорошо закусил коровьим языком... Пссс!

Старик опять захохотал, потрепал по плечу усевшего рядом Николку и достал из сундука четверть.

Николка жадно проглотил поданную ему чепурушку водки и почмокал губами.

— Самое слядко,— сказал он по-русски. Отец угостил его еще.

Николка скоро охмелел. Он то хохотал и затягивал песню, то жаловался на свою судьбу и горько плакал:

— Кто я? Корова ли, олень ли? Пастух я твой!..

Старик протяжно рыгнул, покрутил пальцем возле лба и сказал:

— Вот здесь у тебя ослабло... А то я тебе сказал бы... Хе-хе-хе...

— Чего толковать-то!.. Ты богач, Василь Иваныч... Я бедняк, Николка. Что зря болтать... Вот скажи, где твое золото.

— Стану подыхать — скажу.

— Когда ты подохнешь?.. Не скоро еще ты подохнешь... Надо правду говорить... Чего толковать-то!.. Кабы не съел твоей души шайтан, тогда бы...

— Ну?— вплотную придвинулся к нему старик и хрипло задышал.

— Ты золото один жрешь... Смотри, лопнешь!.. Надо правду толковать... Околеешь — неужто с собой возьмешь?

— Не возьму... и тебе не дам!

— Тьфу!— плюнул Николка.

— Тьфу!— плюнул старик.

Потом, подобрав свои жирные губы и досадливо сморщившись, старик сказал:

— Хорошо, когда золото есть. Лучше, когда нету... Брось!.. Не проси, не надо...

— Пошто толкуешь!.. Худо толкуешь!.. Надо!..— крикнул Николка и ударил кулаком по туесу с маслом.

— Эх, Николка!.. Большой ты дурак, Николка... Пропадешь с ним, Николка... с золотом...

— Я и так пропал... Чего там? Ты погляди, с тебя сало топится. Я худой, как вяленый коровий хвост... У тебя шуба, как дом, а у меня что?.. А?..— Николка скривил рот и всхлипнул.

— Кабы у тебя был тоньше лоб, мои слова влетали бы в твою голову, как в улей пчелы...

Водка мало-помалу убывала. Отец и сын говорили теперь оба враз, и их пьяный говор переходил порой в пронзительный бестолковый крик. Они то крестили большим крестом вокруг себя, чтоб прогнать сновавших тут шайтанов, и свирепо плевали на них, попадая друг другу в лицо, то вдруг вскакивали, схватывались за руки и, пристукивая подгибавшимися ногами, топтались у костра и гнусаво выкрикивали:

— Ехор-ехор-ехор-ехор!..

Но, утомленные, вновь опускались на землю и тяжело пыхтели, отирая пот.

Уж огонь в камельке потухать стал — якуты пьют. Угли чахнуть начали — пьют. Поседел костер от пепла, ветер чум выстудил — кончили якуты пить. Как сидели, сложив ноги калачиком, так и повалились на бок и, соткнувшись головами, захрапели.

Долго спали отец с сыном. Коровий рев и овечье бляение не могли прервать их сон. Не слышал Николка, пастух отцовских стад, как баран бодал его наскоком в спину, не слышал, как пролезшие в чум коровы одурело мычали над ним, прося корму и пойла. Разбудил Николку стон отца. Страшно, дико стонал отец.

Николка вскочил, отпихнул прочь пустую четверть, крикнул:

— Ты!... Старик!..

— Вина!.. Скорей беги... Смерть!

Николка подхватил два покотившихся золотых, выскочил на улицу и заработал ногами к селу.

Когда Николка прибежал назад — отец был мертв. У Николки поднялись дыбом волосы, зарябило в глазах, он опрометью кинулся из чума.

Прытко-прытко — только елки мелькают, побежал опять в село, со страхом озираясь — не гонится ли вслед ему мертвец.

II

Вот уж два года прошло, как схоронил Николка отца. Живет он на краю села, в большом пятистенном, под железом, доме. В одной половине — торговая лавка, в другой — он с сестрой. Торговлю ведет сестра, а Николка все время ездит по улусам, высматривает себе хорошую бабу и часто запивает горькую.

Жиру в нем прибавилось, походка изменилась, серое лицо посвежело и стало лосниться.

Хорошая пошла у Николки жизнь. Тряхни кошельем — что захочешь и на тебе!... Тряхни кошельем, звякни золотом — любая девка тут как тут.

Николка во вкус вошел. Шуба у него лисья; доха оленья. Пальцы в золотых перстнях, часы с музыкой.

Счастливый якут Николка! Видно, когда он родился — медведь в берлоге рывкнул. Да как же не счастливый?

Когда кончится у Николки серебро да золото, пойдет он потайным поздним вечером сам-друг с лопатой, разыщет тайную, заповедную сосну кудластую, колупнет раз-другой — ему и будет!

Впрочем, не всякий-то раз можно отмыкать заповедный отцовский клад; как бурундук, как белка запасает себе на зиму в дупло орехов, так Николка запасался деньгами с осени, когда густой листопад надежно покрывает землю. А то... О-о-о!.. Людской глаз зорок. Только оплошай, только покажи след — загребушая челоуеच्या лапа живо опорожнит!

Жить бы да жить Николке. Ан — уставать стал, что-то в сердце завелось: червяк не червяк, шайтан его знает что — так, пакость какая-то, скверность! Скучать Николка начал.

— Швырвяк точает... нутро сосет... — жаловался он попу Степке, отцу Степану, священнику. — Скушна!

— А ты бы, Никола Васильевич, господу поусердствовал... Вот домик бы притчу новый схлопотал... Да и так... деньжонками... Народ мы многосемейный... Отчего ж это скука на тебя напала? Не перед добром это... Жертвуй!

Жертвовал Николка и деньжонками. Много жертвовал, а не помогло.

Как сказал священник, так и вышло: заглянула в Николкину жизнь беда.

Родили от Николки, одна за другой, две русских женщины: девка да вдова. Может быть, и не от него, как знать? Но поп Степка, отец Степан, священник, сказал, что от него:

— Жертвуй, Никола Васильич... От тебя!.. Несомненно от тебя... По всей видимости от тебя!

Пожертвовал Николка, много пожертвовал. Вдовица-то ничего себе, живет, ребенка пестует, муку, сахар и все прочее чередом получает... А вот с девкой горе. Задушила она своего ребеночка, а ночью, в потайную полночь, зарыла его тайно в хлеву, под навозом. Зашушукалось село, всполошилось, начальство дознаваться начало.

Это ничего. Золотом всякий грех прикрыть можно. Прикрыл Николка свой грех золотом.

Грех прикрыл, а боль по сердцу разлилась шире. Заскучала пуще Николкина душа, пуще Николка пить стал.

Сестра плачет, ничего с братом поделать не может: и свечки Николке-угоднику ставит, и святой воды брату в вино подливает, и шаманов кличет, а толку нет.

Главный шаман долго шаманил, долго в бубен бил, двух оленей заколол, оленьей горячей кровью помазал пьяного Николку и сказал:

— Тебя шайтан мучает...

— Я знаю, что меня мучает,— ответил Николка. Рассудительно так ответил, ничего что выпивши.

Остепенился было, да опять...

До того допился, что виденица началась.

Едет он как-то верхом на олене в улус, чтобы за поглянувшуюся девку калым заплатить — выкуп. Трезвый едет, дня три не пил, в полном разуме. Вдруг слышит сверху:

— Куда ты, дурной, едешь?

Вскинул голову: сидит над ним на лесине ворон, смотрит на него бисерным глазом, говорит:

— Гляди-ка, дурной, на ком едешь-то!

Взглянул Николка — да с седла кубарем: медведь под ним!

— Шайтан! — гаркнул Николка и без памяти — домой.

Деньги сестре ручьем текут, торгует шибко. Надо бы радоваться, а где тут... Сохнуть стала сестра.

А якут Николка все-таки отыскал себе жену: самую молоденькую тунгуску, красавицу Дюльгирик высватал.

Большой калым за девку дал; когда тащил — золото карман оттянуло. Отец богатству вот как рад — нищий. Но девка... о-о-о!.. Дюльгирик цену себе знает. За старого Николку, у которого ноги как дуга, а под носом всегда висит капелька, не выйдет. Она лучше грудь свою ножом распорет и отдаст сердце любимому.

Но золото — сила. Привез Николка свою Дюльгирик богатым поездом; двести оленей в караване было. Украсил ее комнату дорогими мехами.

Плакала Дюльгирик.

Подарил ей соболью в серебре шапку, чеканный браслет золотой, шубу черно-бурых лисиц. Дюльгирик плакала и все смотрела на восток, в ту сторону милую, где остался близкий ее сердцу молодой тунгус.

— Что же ты плачешь, невеселая?

Дюльгирик молчит, все молчит, не хочет обласкать Николку журчащей своей речью.

Однажды он, пьяный, ввалился в дом и горько спросил: — Плачешь?

Дюльгирик плакала.

Николка вынул из кармана кису и вытряс в подол жены много звонкого золота.

— На, Дюльгирик!.. Вот как я люблю тебя, Дюльгирик.

Дюльгирик, не подымая глаз, чуть улыбнулась и, как угас закат, пошла за водой, накинула на лебединую свою шею веревку из конского волоса и повесилась.

Николка скрылся в лес и пропадал там целую неделю. Потом пришел, избил сестру до полусмерти и шатался по селу весь день словно дикий; все от него прятались.

Пока пропадал в тайге, опять беда стряслась. Не так чтобы большая, а все, ж... Взломал какой-то лиходей у Николки амбар и утащил много всякого добра. Очень чисто обделал: не стукнул, не брякнул, злых собак не взбудоражил, — знать, человек знакомый.

Мало-помалу дознался Николка, кто таков. Оказалось — сельский староста, Гришка Ложкин.

— Это моя мука!.. Это моя пушнина!.. Видишь тавро мое, мета, — сказал Николка, заглянув при свидетелях в амбар старосты.

Пожаловался на него Николка, в суд бумагу подал, — бумагу ему один политик написал, хорошо написал, складно.

— Я тебя пристукну!.. Ты что, тварь? — пригрозил ему Гришка Ложкин. — Вот донесу на тебя, что мне взятку дал... За что ты мне двести целковых дал?.. А?.. Подучил девку

ребенка кончить, да и... А отчего, спрашивается, твоя баба задавилась? А?

И послал на него бумагу встречно.

Как ни старался Николка подкупить суд деньгами — не приняли судьи, засадили Николку в городской острог. Полгода просидел за решеткой, много кой-чего передумал и домой вернулся к рождеству.

Пока сидел в тюрьме, сестра померла, дом заколотили, лавку разграбили. Где управы искать? Дома не жалко, товара не жалко, сестру очень жалко сделалось. А тут еще Дюльгирик всплыла в памяти. Тяжко. Заплакал Николай.

Когда ударил колокол, он пошел к вечерне. Еще никого в церкви не было. Сторож оправлял свечи. Поставил якут перед образами свечку, бухнул в землю, зашептал:

— Никола-бог, батюшка... Давай мне настоящую башку... Давай мне хорошую башку... Дурак я!.. самый дурак...

Никола-бог смотрел с образа на якута грозно.

— Не сердчай, Никола-бог... Я тебе тыщу оленей пригоню... Только ума дай!

В церкви Николка не остался: какая-то сила влекла его в тайгу. Он купил еще две рублевых свечи, и когда отходил от образа, Никола-бог смотрел на него милостливо, добродушно.

— Беда!.. Прямо беда!.. — бормотал Николка, шагая вдоль улицы, и крутил головой. — Чисто беда!

Он миновал свой заколоченный дом, вышел за село, сел на запорошенную снегом лесину, осмотрелся. Возле него шумела тайга, а впереди лежала в сумраке бесприютная речная ширь. Только там, где село, приветливо помигивали далекие огоньки. Николка взглянул на них, и ему сделалось скучно, одиноко. Он стал перебирать в мыслях всю свою жизнь и ничего не нашел в ней, кроме беды и горя. Ему вдруг захотелось удариться с разбегу об сосну головой или схватить веревку, да... как тогда Дюльгирик...

«Хорошо, когда золото есть. Лучше — когда нету», — припомнил он речь отца и, зашурившись, засопел.

Он долго задумчиво сидел, потом взглянул вверх, умилился: густо на небе золотых звезд-червонцев; это праведный Тойон для людей старается, золотую беду с земли тащит да гвоздями приколачивает к небесам. Должно быть, давно работает, вон какую протянул дорогу поперек всего неба, а пустого места все еще много. Но великий праведный Тойон каждую ночь трудится. Когда перетаскает все золото,

на земле не останется греха, не будет обиды ни человеку, ни зверю, ни дереву...

— Так, так... Хорошо ты надумал, бог-батюшка...— сказал одобрительно Николка и добавил:— Ты — молодец!

Вот только шайтан мешает: взлетит ввысь лешевой гагарой, долбанет носом в золотую звезду, покатится по небу червонец, да раз!— богачу в карман... Плохо!..

— Ах ты, беда!— причмокивая, досадливо шепчет якут Николка.— Не надо бы богу дремать... не надо бы!..

Он быстро встал, сбросил шапку, приставил ладони дудкой ко рту и, запрокинув голову, громко крикнул:

— А ты старайся пуще!.. Я тебе буду подсоблять... Ты знай приколачивай... Эй, Тойон!

Николка круто повернул и зашагал на огонек к селу.

— Дай, друг, лом да лопату,— постучался он к мужику-соседу.

— На что тебе?

— Пожалуйста, давай... Шибка нужно... Пожалуйста, давай!

Медленно, надсадисто пробирался Николка к заповедной кудластой сосне своей. Долго он бился у сосны над сыпучим глубоким снегом, еще дольше над промерзшей землей, и вот вытащил кожаную суму, стал разжигать костер. Отогревая руки, он зло на нее косился. Потом выхватил отточенный, с чернем из мамонтовой кости, нож и скакнул к суме с звериной яростью, будто к попавшему на овчарне волку.

— У, шайтан!— взвизгнул Николка и саданул по ремненным шнурам ножом.

— Шайтан!.. Самый шайтан!— он подхватывал трясущимися пригоршнями золото и вновь ссыпал в суму. Золото, звеня, смеялось над Николкой.

— Врешь, шайтан!.. Врешь!..— сверкая глазами и стискивая зубы, шипел Николка.— Ты шайтан, прямой шайтан!.. Ну-ка!.. Пойдем-ка... Ты — беда!

Он взял под пазуху суму и, перегнувшись, потащил к реке.

В глазах у него все задрожало, закачалось, перед ногами кто-то бросал горстями червонцы, а вслед летел дикий хохот, и брякали шаркунцы с бубенцами, словно сзади исправник на тройке мчал.

— Врешь, шайтан!.. Знаю!..— озираясь страшными глазами, громко кричал якут, чтоб прогнать вставшую со всех сторон нечисть.

— Стой, Николка!— скомандовал он сам себе и остановился у проруби.— Бросай, Николка!

Он приподнял грузную суму, поустойчивее укрепился и, раскачав ее, швырнул в прорубь.

Недовольная внезапно прерванным сном, вода испуганно ухнула и заплескалась. И вместе с ней всколыхнулись, задрожали, заструились змейками, отражаясь в воде, звезды.

И не вода это ухнула, не звезды заиграли в ней: черные шайтаны подняли возню у проруби, блеснули во тьме чьи-то горящие глаза, завыли, затывкали волки, свист пошел над речной пустыней. И кто-то черный шагнул к нему.

Якут подался в страхе назад, сорвал с головы шапку и, пав на снег, неистово заголосил:

— Бог Никола, заступайся!.. Эй, Никола-матушка, подсобляй!..

Вмиг все смолкло. Якут встал, глубоко вздохнул и часто-часто закрестился, читая вслух дрожащим, срывающимся голосом одному ему ведомую молитву.

Огляделся кругом: тишина и темень. Посмотрел на прорубь — вода дремала. Николка хихикнул. Сделав строгое лицо и заложив руки назад, он важно, вперевадку, подошел к проруби и с ненавистью плюнул в воду:

— Нна!!

Потом прищурился на небо, провел взором по золотопыльному звездному пути и, гордо ткнув в грудь пальцем, крикнул своему богу:

— Я — тоже молодец!

На другой день был праздник. Якут Николка весело похаживал по селу. Как ни соблазняли его крестьяне по праздничному делу выпивкой — ничего не вышло.

— Шабаш!.. Кончал!.. Все кончал, — улыбаясь, говорил Николка. — Золотой беда бросал... Много-много беда с земли уехал... Борони бог. Совсем кончал!..

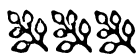
Ничего не поняли крестьяне. А как пришел в гости к батюшке, тот понял, стал упрекать его:

— Ты бы, Никола Васильич, бедным мог раздать... Не одобряю... Дубина ты!.. Чурбан!

— Ах, поп Степка, отец Степан-священник, — ответил якут. — Чего ты смыслишь?.. Ты, бачка, тьфу смылишь... Ведь золото — беда, прямой беда!.. Деньги — беда, прямой беда!.. Пошто беда раздавать?

— В тюрьму тебя опять!.. Орда чертова!.. Говори, куда дел?!

— Псс!.. Ах, бачка... худой твой башка! Дурак есть...



«НА ТРАВКУ»

Яков Мохов, наголодавшись в Питере, выхлопотал в фабричном комитете двухнедельный отпуск и укатил в Краснозвонск «на травку».

— Это ты правильно,— сказал ему товарищ.— Краснозвонский уезд всегда был сытый. Народ справно там живет. Вот и мне картошки пришлешь.

Ехать было очень голодно: на станциях — хоть шаром покати, пустыня.

Но лишь сошел в Краснозвонске с поезда, какой-то шершавый дядя с кнутом вырвал у него восьмушку махорки, сунул в руку полкаравая хлеба фунта в два, а тетка за маленькую катушку ниток дала десяток вареных яиц.

Яков Мохов весь расцвел.

— Господи... Вот так чудеса!— сел на лавочку да все без запинки и скушал.

— Полный резонт...— сказал он самому себе и в веселом настроении пошел на рынок: день воскресный, как раз базар.

Зычно бухали колокола к поздней обедне — церковей в городе много; зеленели сады, ласточки с веселым гамом резали воздух; к базару тянулись подводы; лошади откормленные, гладкие, народ приветливый и сытый.

А вот за мостом, у собора, и базар. Торватый прасол продает целое стадо домашних уток, вот две большущих бочки масла, творогу, возы яиц. Хотя цены высокие, но у возов хвосты — всяк пить-есть хочет.

Местные жители на чем свет ругают приезжих питерцев, которые ходят гурьбой по базару, у каждого за плечами мешок, в руках сумка со всякой всячиной: чулки, брюки, чашки, часы, сукно, ситец.

— И чего их пускают сюда? Гляди, как набивают цены-то. Приступу нет.

— Захочешь есть, так... Поди-ка побывай в Питере-то, нюхни-ка!.. Нужда гонит.

— У вас заработки. А у нас что?

— Заработки... Велики наши заработки.

Яков Мохов наблюдал все это издали, прислушивался, присматривался, наконец и сам принял участие.

Он подошел к рыжебородому, маленькому, похожему на колдуна, старичонке:

— А почем картошка?

— Картошка?— переспросил тот, хитроумно взглянув на покупателя, и поскреб под бородой.— Картошка у меня серебрянка называется, не скороспелка. Прямо с гряды. Вот какая картошка-то.. Сахар! Триста целковых мера.

— Дорого.

— Дорого?— опять переспросил старик сердито.— Зато в городе. Не хочешь, не бери.

— Как это не бери? Я есть хочу!.. Чего тебе картошка-то стоит... Грош она стоит. Мародер этакий.

— Стой, стой! Ты не лайся... Ну, ладно, взял я, скажем, триста рублей с тебя,— а что я на них могу купить? Ну-ка, скажи! Три фунта соли. Понял?

— Верно, верно!

Кругом загалдели, собиралась толпа.

— Вот рубаху сейчас купил!— крикнул парень.— Пятьсот рублей. А она греет, что ль? Ситец!

— Лошадь — тридцать тысяч! Колесо — две тыщи. Коса, уж на что коса, и та шестьсот. Ха!

Яков Мохов улыбался, глаза его сверкали.

— Вот у тебя, я вижу, сапоги новые обуты,— задорно сказал старик колдун и подбоченился.— Во сколько их ценишь? В три тыщи? А я кладу за них четыре рубля с полтиной, как до революции, а свою картошку — пятиалтынный мера. Это сколько же выходит? Тридцать мер? Так и есть... Вот получай тридцать мер да разувайся, ежели на то пошло? Желаеть?

— Ха-ха-ха! Разувайся, товарищ, разувайся!— подзуживали ротозей.

— Заплачешь ведь!— возвышая голос, чтоб заглушить поднявшийся шум и хохот, говорил Яков Мохов.— Спятишься, старый хрен... Ведь тридцать мер, ежели по три сотни — девять тысяч выходит, а я три прошу. Взвоешь ведь!

— Кто, я? Ничего не взвою. Разувайся, и никаких!

— Не валяй ваньку-то! До старости лет дожил, а дурак.

— Может статься, и дурак, да не дурашней сына твоего батьки.

— Ха-ха-ха!..

— А где у тебя картошка-то? У тебя и картошки-то полторы меры.

— Поедем. Живо накопаю. У меня две девки!

— Где ему?— подзуживали зеваки.— Он только бахвалится.. Поди и сапоги-то не его, а для прогулу взял.

— Известно, не его!— подмигнул старик зевакам.— Ему и во сне-то не снилось таких собственных сапогов носить.

— Ишь, ишь покраснел как!

— Едем, черт ты дери, едем!!— крикнул взбешенный Яков Мохов и залез в телегу к старику.

Вышло чудно как-то и нелепо. Ну, для чего он продал сапоги? И куда ему тридцать мер картошки? Ему масла надо, крупы, яиц, хлеба.

Тьфу!.. Он с досадой посматривал на сутулую спину колдуна, на его хитрые, с прищуром, глаза, на клокастую рыжую, с сильной проседью бороду.

Но лишь только выехали за город, досады как не бывало. Кругом лежали желто-золотистые нивы и зеленые поля, виднелись рощи, перелески, то здесь, то там белели церкви. Воздух насыщен прямым густым теплом, солнце склоняется к западу, по пажитям чинно расхаживали грачи, а в выси все еще звенели песни жаворонков.

— Ух ты! Давно я не был в деревне. Я ведь тоже из мужиков.

— Так-так-так... Само хорошо,— живо откликнулся старик.

— А служу на фабрике в Петербурге.

— Так-так-так... Благодарим покорно... Оно и видать: краски-то никакой в лице нету... А кость широкая. Поди харч плохой?

— Ну да... А после пасхи в больнице месяц вылежал.

— Так-так-так... И чего вы, ребята, например, все мутите? За дело бы надо. Нешто это жизнь?

— А тебе плохо? Наверное, помещичью землю поделили? А?

— Насчет землицы — это правда, землица отошла к нам от барина добрая. Благодарим покорно... И лесок есть, и сад, а яблоки — во!— в два кулака другой не уложишь, да еще пасака... Все под мужиком теперича!

Старик свесил с телеги ноги, покрутил головой и скрипуче засмеялся, его маленький круглый носик совсем потонул между толстых лоснящихся волосатых щек.

— Вспомнил штуку... Хошь — расскажу? Тут в пятом годе такая канитель вышла с помещиком-то нашим, что страсть. Погромишко, вишь ты, мужики-то устроили, то есть все покострячили — дым коромыслом! А я поопасался ехать, как бы чего не вышло, думаю. Одначе баба забранилась: «Дурак, грит, ты... Эвот, люди возами добро возят. Грыжа, грит, ты собачья!» Оделся я, поехал. А там уж и взять нечего: что муку, что небиль али платье — все расхватали, чисто под метелку. Нет, думаю, надо что ни то и мне, а то — старуха глотку переест. Гляжу — чан большущий, дубовый, ведер на сорок, на боку лежит. Я его в сани, грузный черт, аж становую жилу надорвал. Вот поворотил я с ним домой, да и подумал: «А на кой леший мне чан?» А сам глазом шарю, нет ли еше чего билизовать: значит, в антирес входить начал. Гляжу, кобель барский, тощий такой, согнулся в дугу, будто стрючок, шуба-то на нем короткая, а мороз. И стал я за ним гоняться, ну вступило в мысли поймать да и поймать. Чисто ошалел тогда. То ись до того упрел, гонявшись, аж душа вон. Одначе изловчился, пал на него, а он меня цоп за нос! — едва не отгрыз. Скрутил я его кушаком да в чан-то и посадил, и сам туда залез, а кушак-то вокруг себя, чтобы, значит, не убег кобель-то. И поехали мы с ним, благословясь, домой, как сенаторы. Вот ладно. Вдруг откуда ни возьмись черкесцы — у соседнего барина, слышь, служили они, — за мной... Я как начал нахлестывать кобылу-то, они за мной. Ке-эк в это времечко дорога крутанула, сани вверх копыльями, все на свете перекувылилось, тут нас с кобельком чан-то и накрыл, двух дураков. Живым манером это черкесцы опять чан перевернули и почали меня плетками драть. Дерут, а мне смешно: кобелишко-то со страху кушак мог оборвать да как сиганет, отбежал в отдаленье да ну гавкать дурноматом. Тут и черкесцы засмеялись, ей-богу право, бросили меня драть-то. Я встал на ноги, один как порснет мне в морду кулаком, я опять слетел. Только было подымусь, как порснет по уху, я опять в снег башкой. Я караул заорал, взмолился. Бросили. Распрощался я тут с ними честь по чести и пошел ни с чем домой, потому кобыленки и след простыл. Иду да кровью отплеываюсь, зуб мне вышибли, самый клык.

Старичонка долго хохотал, подстегивая лошадь; грустно улыбался и Яков Мохов.

— Вот видишь, — сказал он старику. — Разве это порядок? А теперь кто тебя пальцем может пошевелить? Никто.

— Как есть — никто! — Старик помолчал и сказал раз-

думчиво:— Оно верно, что с этим уставом с теперешним можно было бы жить, кабы удовольствие... А то, вишь, никакого удовольствия: ни тебе сахару, ни чаю, ни гвоздя. Тьфу! Эвот селедка, уж на что дерьмо, и та в сотню въехала. А бывало на сотню-то две коровы да коня купишь.— Он ударил себя кнутом по голенищу, зашурился и закрутил головой.— И деньжищ этих теперя у всех крещеных — гибель! А впрочем,— что в деньгах? Бумага и бумага... А удовольствия никакого тебе нету. Да-а... Так-так... Ну вот, например, вы, фабричные,— коего черта, прости бог, не вырабатываете ситцы да сукно? Оглашенные вы эдакие, будьте вы неладны!— вдруг переменив тон, крикнул старик.

Лицо его стало строго, но глаза смеялись.

Яков Мохов ответил не сразу. Долго глядел на него в упор, потом сказал:

— Темный вы народ, жадный. Вам бы только в брюхо все. Есть селедка в аршин величиной, есть ситный, вот мужику и хорошо. А что ежели его в зубы урядник лупцевал, да землишки было — кот наплакал,— это мужик забыл. Вот ты плачешь, что фабрики стоят. А где взять хлопка, угля, нефти, железа? Ведь все это тю-тю от нас! Поди-ка повоюй, говорят.

— Ране было же.

— Так зато раньше и помещик был. Раньше и исправник был, и земли у тебя не было. Ну что, ежели тебе дадут, к примеру, сто аршин ситцу, двадцать аршин сукна, пуд мыла да пуд сахару и скажут: получай, только помни, все обернется по-старому, снова будешь не хозяином, а лоуем последним. согласишься?

Старик вздыхал, крутил головой, покрывал, потом сказал:

— Нет!— и нахлобучил шапку.

— Ну а ежели водки еще в придачу? И бочонок самолучших сельдей? А?— улыбнулся Яков.

Старик захохотал и мрачно сплюнул:

— Благодарим покорно... Ха-ха-ха!.. Вот так заганул загадку. Водка! А? Да у меня своя брага сварена, ей-богу право. Вот приедем, угощу. Эвот и село наше.

Через полчаса сидели за самоваром. Две девицы — Дарья с Марьей, одна другой краше — наперебой потчевали гостя:

— С преснушечками-то, с соченьками-то... Уж не взыщите, мы по-деревенски.

И хозяин весело покрикивал:

— Намазывай толще маслом-то, не жалей, не купленное. Эй, Марья, а ну-ка в погреб, бражки бы похолодней!

С крепкой браги Якова бросило в краску и в глазах замелькало.

«Этакая благодать,— подумал он,— вот бы пожить-то где»,— и поддел на ложку густого пахучего меду.

— Живем, благодарю покорно, ничего...— громко чавкая и запивая брагой, сказал старик.— Только вот в чем суть: бог урожай послал очень даже примечательный, а убираться не с кем: я стар, а девкам одним не управиться... Вот беда-то...

Яков Мохов поставил на стол блюдо и несмело сказал:

— А что, ежели я бы? Насчет работы-то. Я могу.

— Да ну?— вскричал захмелевший старик.— Ах ты, ясён колпак... Яков Иваныч, друг!.. Неужели остался? А уж насчет жратвы мы тебя побережем, то ись так будем ублажать, ну прямо лопнешь по всем пунхтам. А девки-то, девки-то у меня — малина!..— Он подмигнул на зардевшихся девиц и вдруг:— А ты женатый?

— И не думал.

— Ну?! Право слово? Девки, слышали?

Девки зарделись пуще и заходили козырем, грудь вперед, как на подносе.

Хозяин захихикал скрипучим смехом, подскочил к сундуку:

— Раз!— выбросил он новые сапоги.— Первый сорт, со скрипом. Два!— выбросил другую пару.— Три, четыре, пять — это девкины! Нна! Уж насчет обуви — извини — вполне имеем. Ха-ха-ха! Уж извини. То ись надул я тебя, Яков Иваныч, вот как... То ись на рынке-то. Не сапоги твои, ты мне нужен, ты! Приглянулся ты мне: большой да широкий. Дай, думаю, уманю. Ха-ха-ха! Благодарим покорно. Оно как по писаному и обернулось. Чисто камедь... Ах ты, ясён колпак. Дарья, браги!! Марья, ходи веселей! Не зевай, девки, холостой ведь он...

Яков Иваныч улыбался.

ЭКЗАМЕН

— Ну, так как? Это ваше последнее слово, Надюша?— выразительно спросил Утконогов.

— Да, самое последнее. Вы сами посудите, Петр Федо-

тыч... Я, конечно, за кондуктора пошла бы, но страсти боюсь, что вы на экзамене обрежетесь.

— Пожалуйста, в смысле экзамена не сомневайтесь. Например, я все выдолбил как нельзя лучше. Вот разбудите меня в самое ночное время и задайте вопрос...

— Ах, что вы говорите!.. Разве я могу, будучи, без сомнения, девицей, будить в почное время спящих мужчин во сне... А вдруг вы вскочите и замест экзамена начнете мужские глупости... А вот я вам, Петр Федотыч, прямо отвечаю: ежели вы, без сомнения, провалитесь, то за меня сватается один солидарный женишок.

— Кто такой?— оторопело спросил Утконогов.

— Да уж есть,— кокетливо протянула Надюша; круглые нажевавшие щеки ее налились улыбкой, как яблоко.— Сватается за меня Кузьма Ефимыч Жеребяткин... Они не совстуют за вас выходить, а я, без сомнения, напротив...

Утконогов шел домой в большом волнении. Да, черт ты ешь, этот самый Жеребяткин конкурент по всем статьям. Этот самый Жеребяткин не кто иной, как нарядчик кондукторских бригад. Вот кто Жеребяткин. И Надюша, видать, не промах: у Жеребяткина хозяйство ай-люли, одних свиней штук пять. Ах, дьявол!

— Ну да ничего...— сказал он вслух.— Ведь экзаменатором-то мой знакомый техник назначен, Лебеда.

Через два дня Петр Федотыч отправился на экзамен и зашел к невесте.

— Ах, до чего вы интересные собой,— сказала девушка.— Только смотрите, как бы не сбили вас. Такой вопрос поставят на ответ, что... Например, меня на экзамене в ком-ячейке спросил инструктор: а где живет Карл Маркс? Я сказала: они померши. А мне сейчас же опровержение: Карл Маркс живет в сердцах пролетариата. Представьте! Я, без сомнения, не могла знать и чрез эту неприятность чуть не слегла в обморок.

Петр Федотыч весело расхохотался и сказал:

— Этих паник я не признаю. А раз вы жили в городе у генеральши, позвольте облобызать вашу ручку, мадам-зель.

И пошел через село на станцию в полном душевном равновесии.

Но, отворив в контору дверь, он вдруг оцепенел: за письменным столом сидел старший слесарь усач Григорьев и вместо знакомого техника нарядчик кондукторских бригад Жеребяткин. На мгновение в мыслях пораженного Петра Федотыча промелькнула с язвительным хохотом Надюша,

он в страхе зашевелил губами, его усы сначала поднялись кверху, потом загнулись назад, как у моржа.

— Заставляете себя ждать,— сухо встретил Жеребяткин и оправил свой новый красный галстук.

— Извиняюсь, у меня часы отстают,— убитым голосом промямлил Утконогов и подумал: «Боже, боже... Он экзаменатор. Прощай, Надюша!»

— Прошу занять место... Напоминаю, что экзамен поведу по всей строгости, согласно экономических потребностей и вообще новых веяний во всех подобных начинаниях, а также будучи идеологическая подоплека. Итак, приступим.

Нарядчик Жеребяткин говорил хотя высокопарно, но вяло и скрипуче, точно стонал. У него флюс, адски болели зубы.

У Петра Федотыча екнуло сердце, но он овладел собой и ответы давал с треском, правильно, четко и толково. Нарядчик Жеребяткин недовольно кричал.

Прошло больше часа. Все трое взмокли от напряжения и жаркого солнечного дня.

Почти вся инструкция блестяще исчерпана. Петр Федотыч даже сверх программы изобразил карандашом схематический чертеж сцепления вагонов обыкновенной и уленгутовской стяжкой.

— Я полагаю, довольно бы... По-моему, товарищ Утконогов выдержал и заслуживает кондукторского звания,— сказал Григорьев, облизнув пересохшие губы.

Утконогов засиял, ему ужасно захотелось расцеловать Григорьева.

— Что? Как это довольно!— оживился Жеребяткин.— А вот мы испытаем, на сколько градусов у него котелок варит.— При этом нарядчик Жеребяткин так сильно засопел, продувая ноздри, что подвязанная к флюсу вата полетела клочьями.

— Отлично. Хорошо,— сказал он, хватаясь за большую щеку.— А вот, например, в товарном вагоне везут покойника. Что это: живность или груз?

«Ну, на этом-то не собьешь меня»,— подумал Утконогов и бойко ответил:

— Никакой покойник не может почитаться живностью, раз он умер. Живность шевелится и чуть что — должна поднять крик. Например, корова издаст вроде мычанья, петух поет. Под товар тоже подвести нельзя, все-таки это бывший человек, и в смысле товарооборота не может быть и речи. А просто — покойник. Довольно странный, сбивчивый вопрос.

У экзаменатора глаза стали круглыми и завертелись.
— Ну, так,— сказал он.— А вот что значит: находясь на службе, кондуктор должен являться в трезвом состоянии? Что обозначает трезвое состояние? Например, я могу выпить ужасно много, и как только начинаю ругаться на татарском языке, значит — стоп. А другого с трех рюмок развезет. Как тут сопоставить?

Григорьев хихикнул в рукав, а Петр Федотыч, чуть подумав, ответил:

— Трезвое состояние значит, когда человек не шатается, не ругается и все понимает.

— Так это и Григорьев, ежели окончательно будучи напьется — не шатается, не ругается, а сразу ляжет на обе лопатки, как бревно, и все понимает.

Григорьев опять хихикнул и сказал:

— Это к инструкции не касаемо, к чему же сбивать? Но Петр Федотыч нашелся:

— Трезвый — значит ничего не надо пить.

— Извиняюсь,— сердито запротестовал экзаменатор.— Такого правила в инструкции не сказано, чтоб из общества трезвости. Ну, ладно. Этот вопрос спорный и вытекает из крепости естества. А вот...— И он задумался.— Вот скажите мне, что надо делать, ежели в поезде есть вагоны с негашеной известью?

— Я должен убедиться,— начал Петр Федотыч слово в слово по инструкции,— что в этих вагонах нет щелей и дыр и люки закрыты настолько плотно, что устранена всякая возможность проникновения в вагоны дождя, снега и тепё.

— Что, что? Это что за «тепё» такое?— изумился экзаменатор и стал перелистывать инструкцию.

— Я и сам призадумался,— грустно ответил Петр Федотыч.— Чистосердечно сказать, не понял. Но безусловно — сырость, раз известь негашеная. Я так полагаю, что озорники, которые ездят на крышах, например, во время революции... И прямо, извиняюсь, с крыш это самое... А в крышах, конечно, щели. Ну, и потекё.

— Тыфу ты! Ничего ты, сударь мой, не понимаешь. Тут пропечатано: дождя, снега и т. п., то есть — и тому подобное, а отнюдь не и тепё.

— Я не знал. Тут неясно...— упавшим голосом проговорил Утконогов.

— Ага, неясно!— обрадовался Жеребяткин.— Это не ответ. Для кондуктора все должно быть ясно.

Григорьев твердо сказал:

— Протестую. По моим соображениям, какая же может быть сырость, кроме снега с дождем? Ответьте мне сами-то, товарищ Жеребяткин.

— Сырость?— заносчиво проговорил Жеребяткин.— Сырость может быть всякая. Мало ли какая сырость бывает...

— Например?

— Ну, сырость... Мало ли там. Сырость — это... Ой, ой... Батюшки, стрельнуло как!— Он схватился за щеку и, весь перегнувшись, побежал по комнате, широкоплечий, приземистый, с брюшком.

А слесарь Григорьев резонно говорил:

— Как я осистен, то подписываюсь руками и ногами под ответом товарища Утконогова. Ответ правильный. Кроме как от безобразий, никакой сырости в естественной природе и не обнаружено вредной для извести. Вопрос исчерпан.

— А вот,— раздалось от окна, и Жеребяткин прикультыхал на место.— А вот ответ. Сидишь ты в порожнем отделении и побился, скажем, об заклад с другим кондуктором. Ты говоришь: «На таком-то перегоне поезд обязательно сойдет с рельс». А тот отвечает: «Нет, не сойдет». И действительно, поезд прошел благополучно, и ты проиграл. Хвать, а денег-то и нет, заплатить-то и нечем. Ты бежишь в ночное время, когда все спят, и начинаешь вежливо трясти свою мать и говоришь ей в сонном виде: «Матка, дай-ка скорей денжат!»

— Никак нет,— возразил Петр Федотыч.— В силу параграфа тридцатого кондуктор не должен без надобности беспокоить пассажиров, особенно ночью.

— Но, во-первых, не без надобности, а во-вторых — это же твоя родная мать?..

— Это меня не касается. Ежели, скажем, мой отец, покойник, придет с того света да начнет в вагоне стекла бить, я и отца на ближайшей остановке вышвырну в вежливой, но твердой форме. Во-вторых, согласно параграфа пятнадцатого, я не имею права занимать порожние отделения.

— Так, так. Ну что же, все? Хорошенько обдумай мой вопрос.

Утконогов подумал и сказал:

— Да, все.

Нарядчик Жеребяткин вильнул бритой, в ермолке, головой и пристукнул в стол ладонью.

— Ага, все? По-твоему, все? А вот и врешь. Как же ты смеешь, черт тебя дери, биться об заклад, раз у тебя на перегоне не благополучно?.. Извольте радоваться, вместо

того чтобы подать на паровоз тревожный сигнал, он, каналья, бьется преспокойно об заклад и идет как ни в чем не бывало будить родную мать, а тут поезд через три минуты должен кувырнуться!

— Ага, конечно... Я сейчас же...

— Ах, сейчас же?! Нет, брат, поздно! Поздно, черт тебя дерит! Что у тебя там было на путях? Шпалы выворочены, рельс развинчен или бык лежал? Отвечай!!

— Откуда же я могу знать?..

— Ах, вот как! Он, каналья, бьется с каким-то паршивым ослом об заклад и не знает, почему бьется?.. Харррашо-о-о-о...

— Я протестую!— крикнул слесарь Григорьев и весь взъерошился. Его глаза на прокоптелом лице сердито белели.— Ерунда какая-то! Он же инструкцию отлично знает, а вы нарочно запутываете. Прошу задавать вопросы по существу понятий, а это уже вроде как тенденция. И, кроме того, остается недоказанным, что он каналья. Я протестую. Прошу называть товарищем. И на «вы».

Такое заступничество растрогало Петра Федотыча. Губы затряслись, на глазах показались слезы.

— По-моему, довольно,— авторитетно сказал Григорьев.— Вполне достоин своего звания. Заявляю как осистен.

— Последний вопрос, самый понятный, незапутанный,— проговорил экзаменатор и весь хищно сжался, как на мышонка кот.

— В вашем вагоне, товарищ Утконогов, едет беременная женщина. Понятно? И вот она случайно родила двойни, что вполне допустимо инструкцией. Понятно?— мотнул он головой Григорьеву.— Ну, вот. Что же вы, товарищ, должны сделать? Скорей, скорей...

Петр Федотыч потер лоб, быстро припоминая всю инструкцию:

— Я должен разыскать кондуктор-фельдшера; если такового не имеется, я должен... Больше в инструкции ничего не сказано...

— Надо шевелить мозгами!— почти крикнул Жеребяткин.

— Я, конечно, буду искать бабушку промежду пассажиров, которая повитуха. В случае неимения налицо таковой, буду умолять всякую попавшую женщину...

— Ну, ну!— торопил Жеребяткин.

— Ежели таковой не повстречалось бы во всем поезде, что невозможно допустить... Я кой-как... конечно, я не спец по части новорожденных младенцев, но...

— Чушь!— оборвал Жеребяткин.— Совсем не то.

— Я на первой же остановке честно, благородно, соблюдая вежливую форму, должен отнести роженицу в приемный покой, а также двух появившихся младенцев.

— Чушь, чушь!— торжествуя сказал Жеребяткин.— Далеко не в этом суть вопроса.

Петр Федотыч в замешательстве переминался с ноги на ногу. Слесарь Григорьев поспешно вышел в другую комнату и поманил пальцем Жеребяткина.

— В чем суть? Я тоже ничего не понимаю...— тихо и конфузливо спросил он.

— Да очень просто,— весело подмигнул Жеребяткин.— Ведь младенцев-то два... Понимаете? Ежели б один, ну, тогда он прав... А то два...

Когда Жеребяткин до конца объяснил в чем дело, Григорьев сквозь сдержанный смех воскликнул:

— Ах, ерш те в гайку! Совершенно верно!.. Хы-хы-хы...

— Надо скорей кончать,— сказал Жеребяткин, ковыряя спичкой зубы.— У меня рукобיתье сегодня... Надюшу-то Дроздову знаете?

— Поздравляю, поздравляю...

И вышли фертом к взволнованному Петру Федотычу.

— Ну что ж, знаете?

— Никак нет.

Слесарь Григорьев, совершенно неожиданно для Петра Федотыча, крепко и внушительно сказал:

— Стыдно этого не знать, товарищ! Это даже дураку ясно. Какой же ты после этого, к чертовой матери, кондуктор?

— В чем же суть?— весь уничтоженный, продрожал голосом Петр Федотыч.

— Ты должен,— поднимаясь и рубя ладонью воздух, стал чеканить Жеребяткин,— после установленного факта в рождении ты сейчас же должен требовать с этой самой мадам дополнительный билет. Один младенец бесплатно. А ежели два образовались в поезде, это уж целый билет дорога заработала. Итак, резюмируя способности мозгов, ты чрез полгода можешь явиться для вторичного экзамена об это место.

Петр Федотыч качнулся, мотнул головой и, сдерживая гнев, угрожающе сказал:

— Ну, в таком разе мы с вами, гражданин Жеребяткин, посчитаемся... Я найду правду. Теперь не прежние времена... Так влетит, что...

И экзаменаторам действительно влетело.

СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА

— К черту,— сказал сам себе Петр Иванович Тарелкин, прикултыхав домой с трудповинности, и бросил в угол лопату.— Так больше жить нельзя. Это не жизнь, а каторга... Хуже! Это хождение преподобной Феодоры по мукам. Хуже...

Он снял с правой ноги стоптанный сапожишко и осмотрел ступню: так и есть, большой палец посинел и вспух. Руки тоже поцарапаны, и рассечена бровь. Он размотал веревку, служившую ему поясом, швырнул ее под кровать, сорвал с плеч дырявую бабью кацавейку и долго шагал взад-вперед в одном сапоге, припадая на большую ногу.

— Ха, транспорт. Вози им песок из карьера, балласт...— бубнил он, тараша озлобленные мутные глаза.— А зимой дрова заготовляй на железку, для общественных портомоев проруби долби, окопы рой... Тьфу! Черт бы их драл.

Петр Иванович остановился и так свирепо потряс кулаками, что рыжие длинные космы его заплясали по острым плечам. В эту минуту, вздохмаченный, дикий, грязный, он напоминал допившегося до чертиков дьякона.

В изнеможении он повалился на кровать и сердито запыхтел.

— И завтра, и послезавтра все то же, то же. Может быть, еще десять лет такую волюнку тянуть придется... Это с больным-то сердцем.

Но настроение его вдруг резко изменилось: по испитому длинному лицу проползла улыбка, большой кадык на хрящеватом горле судорожно запрыгал, фиолетовый нос весь наморщился, засвистел и затрясся в смехе.

— Гениально! Гениально!— радостно воскликнул Петр Иванович и ударил себя ладонью в лоб.

Отворилась дверь. Петр Иванович поспешно придал вид безвинно пострадавшей жертвы и закрыл глаза.

— Петруша! Да что ж ты, голубчик, развалился-то,— чуть гнусавя сказала Фелицата Николаевна и стала разматывать с головы шаль,— хотя бы рассаду полил, ведь завтра некогда, завтра ты назначен на заготовку шпал. Милицейский с бумажкой приходил.

— Не пойду,— равнодушно сказал Петр Иванович и густо, но без всякого выражения сплюнул.— Я — бывший соборный регент, а не батрак. К черту!.. Я им больше не слуга... Арестант я, что ли?

Треугольное личико миниатюрной Фелицаты Николаевны побелело.

— Да, никак, ты рехнулся, Петруша! Да ведь по нынешним временам за это могут расстрелять!

— Как это меня могут расстрелять, раз я умру,— загробным голосом проговорил Петр Иванович.

Жена испуганно задвигала бровями.

— Как, Петрушенька, умрешь?

— А очень просто: вот вытяну ноги и умру... Вон какие перебои в сердце.

Фелицата Николаевна уронила на пол шаль и криво опустила на стул.

— Нет, довольно!— вскричал Петр Иванович басом и так свирепо шевельнулся, что кровать заскрипела под ним, как коростель.

— Вместо того чтоб этак мучиться, Фелицата Николаевна, лучше раз навсегда покончить все расчеты с жизнью.

Обомлевшая женщина метнулась взглядом по широкому ножу, по веревке, по здоровенному крючку, где висела лампа-«молния», и враз замелькали перед ней хрипящие призраки.

— Ты не имеешь права умирать!.. Ты не смеешь руку на себя накладывать!— И лицо ее перекосилось от ужаса.

«Очень любопытно, черт возьми»,— едва сдерживая смех, подумал Петр Иванович.

Но ему стало жаль жену, и он сказал:

— Дурочка... Фелицата Николаевна... Я ж пошутил. Я умру не по-настоящему. «Смерть Тарелкина»-то смотрели,— пьесу-то, помнишь? Недаром и фамилия у меня такая же — Тарелкин.

Фелицата Николаевна сидела с разинутым ртом и ничего не понимала.

На другой день она заявила в отдел учета рабочей силы. От волнения лицо ее горело, руки тряслись, по груди и животу ходили волны робости.

Безусый заведующий поправил кепку и ткнул в яичную скорлупу окурок.

— Вам, гражданка, что?

Пишущие машинки трещали с ожесточением, очаровательная блондинка пудрила пуховкой нос и щеки.

— Извиняюсь, товарищ,— начала Фелицата Николаевна, потряхивая головой, задыхаясь.— Я пришла доложить, что мой муж, товарищ Тарелкин, и вчера не был на трудовой повинности, и сегодня не пойдет, да, может, совсем не будет ходить.

Юноша засопел, лицо его стало как уксус.

— Ха!.. Значит, с вашей стороны донос? Очень приятно... Садитесь, гражданка... Ваш адрес? Я сейчас pošлю арестовать его.

Машинки вдруг замолкли. Пуховка в очаровательной руке остановилась.

Фелицата Николаевна впиалась руками в край стола.

— Что вы, товарищ!.. У него понос, холера у него. Он вот-вот умрет.

— Холера?— Брови молодого человека взлетели вверх.— Тогда его немедленно надо в заразные бараки. Грибами, что ли, объелся? Сейчас я позвоню.— И рука его потянулась к телефону.

— Ради бога! Не холера у него, извиняюсь. Я перепутала, просто я от неприятности вся трясусь.— Фелицата Николаевна окончательно потеряла нить мыслей.— Он нес дрова, упал и разбил себе голову... Теперь в беспамятстве, сорок два градуса жару.

Лицо юноши стало как горчица, потом — как игривый квас.

— Не упали ль вы сами, гражданка, на голову?— Губы его кривились в улыбке.— И что вам наконец от меня угодно?

Фелицата Николаевна беспомощно вытаращила глаза, как бы припоминая цель своего прихода.

— Товарищ!— вышла она из оцепенения.— Извиняюсь, товарищ, извиняюсь. Я пришла заявить, что мой муж, гражданин Тарелкин, извиняюсь, при смерти.

Она выходила на цыпочках и косолапо, барышни провожали ее улыбками, а когда скрылась, начальствующий юноша сказал кокетливым баском:

— Ненормальная дура.

Их городишко небольшой. Жили они во флигеле на однюком пустынном огороде. Петр Иванович было разделал пять гряд под картошку и всякую всячину, а тут, пожалуйте, шпалы. Ха! А не желаете ли вы фигу?!

Петр Иванович на третий день благополучно умер.

Фелицата Николаевна, в черном платочке, двое суток без передыху бегала по всем надлежащим местам. Наконец все документы выправлены, и покойный гражданин Тарелкин был навсегда вычеркнут из списка живых.

Петр Иванович целую неделю со всем усердием копался на огороде. Погода солнечная, все зазеленело. Скворец в скво-

решнике гоготал, словно молодой жеребчик, и заливался свистом, как ямщик на облучке.

Эх, как это прелестно, что Петр Иванович умер! Для кого умер? Для них, а не для себя. Теперь знай работай. Кто из знакомых на такой пустырь придет? Полная гарантия. Отлично, гениально!

Как-то попала Петру Ивановичу в руки старая газета. Прочел, и глаза его засверкали.

— Да ведь мы — чурбаны, колпаки! Мы прозевали изрядную выдачу... Не угодно ли: на саван столько-то аршин. На траур столько-то... Гроб из заготовительного склада: в случае отсутствия такового — выдается денежная себестоимость. Срок получения десятидневный. Боже мой, сегодня последний день!..

А Фелицата Николаевна как на грех уехала в деревню за мукой. Усопший Петр Иванович немедленно составил подложную доверенность от лица жены на имя несуществующего двоюродного дяди, Антона Огурцова, нахлобучил шляпу грибом на самый кончик носа, отхватил ножницами половину бороды, нафабрил ее черным жениным фиксатуаром, отчего рыжая борода стала темно-зеленой, и под видом гражданина Огурцова, предвкушая большой барыш — недаром всю ночь вошь снилась, — корыстолюбиво зашагал по пыльной улице.

«Господи, как бы не влопаться», — с ноющим чувством подумал он.

Но когда поднялся в присутствии и внимательным взглядом окинул лица всех служащих, от сердца отлегло: ни одного знакомого человека.

Заявление его все инстанции прошло благополучно: двенадцать виз с росчерком и печатями так исполосовали все свободные места бумаги, что негде клонуть курице, и вот, в конце занятий, когда служащие похватались за картузы, ему вручили ордер на получение, сказав:

— Бегите скорей вон к тому оконцу... Без двух минут четыре... Может, успеете.

Петр Иванович совсем по-молодому, — даже приподнял темные, нарочно надетые очки, — подъехал, как на лыжах, к загородке и сунул в оконце ордер:

— Ради бога... Вот!

Но его протянутую руку вдруг схватила за решеткой для дружеского пожатия неизвестная рука, и знакомый голос произнес:

— А, Петр Иванович!.. Здравствуйте, милый человек.

И обе головы, одна перепуганно, другая любопытно,

так порывисто нырнули друг другу навстречу, что в самом оконце сильно стукнулись лбами и едва не поцеловались.

Петр Иванович в страхе отпрянул, как от вставшей перед ним змеи, выдернул руку, волосы на его голове зашевелились, и, словно в тяжком сне, он прирос к месту.

Из оконца высунулась широколобая лысая голова с черными височками и не то подозрительно, не то приветливо осклабилась в самые очки усопшего.

— Однако что же это такое? Вы, должно быть, хворали, вас нельзя узнать, Петр Иванович! А?

— Вы ошибаетесь... Я совсем не Петр Иванович... Петр Иванович Тарелкин помер... Вы ошибаетесь. Я — Антон Огурцов — дядя.

Но голова, очевидно, не слыхала. Она на мгновение поджала бритые сухие губы и вновь растеклась в улыбке, на этот раз определенно ядовитой.

Петр Иванович словно окунулся в ледяную воду.

— Позвольте мне обратно ордер, — забормотал он. — Тут ошибка... Ради бога, ордер...

— Ордер? Он регистрируется... Сейчас, сейчас... Кто ж у вас умер, Петр Иванович? Уж не супруга ли?

Голова унынула за решетку и близоруко стала водить по ордеру острым носом. Вдруг рот головы вытянулся ижицей, брови заскакали по лбу вниз и вверх, уши и черные зачесы на височках задвигались.

— Гм!.. — зловеще сказала голова, щелкнула кистью руки по ордеру и, как торпеда, выбросилась в оконце. — Гражданин Тарелкин!..

Но на том месте, где стоял Петр Иванович, была совершенная пустота.

Вечер. Покойник с собственной вдовой, только что вернувшейся из деревни, пили морковный чай. На покойнике лица нет, руки его тряслись. Не переставая, он курил махру.

— Чует мое сердце, что облава нагрянет, арестуют, — говорил он. — И откуда этот бритый дьявол взялся? Ведь он же в уезде был. Бывший кабатчик, в коммунисты записался, перевертень, черт. Такие самые злые. Боюсь я... И надо же было так влопаться... Тьфу!

— Придется, Петенька, завтра же в деревню тебе бежать... Ох, хоть бы ночью-то переночевать благополучно!

— Я так полагаю, надо обриться мне...

Вдруг раздался стук в дверь.

Оба вздрогнули и открыли рты. Занавески на окнах спущены, горела лампа.

— Скорей в подполье!.. Пропал я, пропал...— зашипел покойник. Сердце его стучало, и громко стучали в дверь.

Мигом спустились в подполье; Петр Иванович залез в мешок и сел в угол.

— Заслони меня чем-нибудь... Вот ящиком... Вот еще мешком с углями...

Вдова вылезла, закрыла люк и, придав лицу скорбное выражение, вся оледеневшая, открыла дверь.

— А-а,— протянула она и сразу обозлилась.— Ульяна Сидоровна!.. И откуда это вы приперлись?

— А уж я думала, тебя зарезал кто,— пробасила, вваливаясь, рыхлая женщина. Дряблое лицо ее жирно и красно, белый чепец на голове взмок, под мышкой огромный веник, в руке чемодан. Она закрестилась на иконы.—Фу-у-у!.. А я из бани к тебе... Дай, думаю, навещу вдовуху, божью сироту. Почитай, с полден пошла, да ишь как... Очередь с версту... Тьфу ты! Что и за жизнь — и когда эти большевички сквозь землю-то провалятся...

Женщина грузно шлепнулась на кресло и вытерла рукавом салоп потное свое лицо.

— А с кем же ты чай-то пила? Две чашки-то зачем?.. А табачищем-то как разит. Дым как на пожаре. Неужто куришь?

— Курю,— сказала вдова, и уши ее покраснели.— После покойника осьмушечка осталась... С горя.

— Фу-фу... Да. Посетил господь. С чего это он? Вот те и Петр Иванович!.. Царство ему небесное... Э-эх!.. Ну-ка, налей чайку.

— Извиняюсь,— растерянно и не без раздраженья начала вдова. Зубы ее выбивали дробь.— Извиняюсь, Ульяна Сидоровна... Я вас никак не могу угостить чаем... Пожалуйте в другой раз, Ульяна Сидоровна.

— Почему это не можешь?— гостя сдернула мокрый чепец, бросила его на стол, и заплывшие жиром красненькие, безбровые глазки ее засверкали.

— Я сейчас спать лягу, Ульяна Сидоровна... Я должна завтра чем свет встать, чтоб к заутрени на кладбище попасть, Ульяна Сидоровна, на панихидку...

— Чудесно,— перебила гостя,— я у тебя ночью. И я с тобой на панихидку пойду.

Хозяйка вся затряслась от злобы. Подбородок ее подался вперед.

— Нет, нет, это невозможно, Ульяна Сидоровна!

— Я пятьдесят пять лет Ульяна Сидоровна! Ошалела, что ли, ты... Как это невозможно?— и стала цедить из чайника в чашку.— Я вот на кушетке и прикорну... Не бойся, не объем, у меня кой-что захвачено... Ой, и пить захотелось, прямо душа горит.

Гостья, кряхтя, нагнулась под стол, вытащила из чемоданчика мочалку с мылом, потом грязное белье, бутылку самогонки, два яйца, завернутую в тряпицу селедку и краюху хлеба.

— Эх, хорошо бы еще луковку.

А в это время покойник прогрыз в мешке дыру и жадно прильнул к ней волосатым, как овчинная рукавица, ухом.

— Погиб... погиб...

Но заскрипел люк, опрокинулся вниз сноп света и перед покойником кто-то задышал.

— Петруша...

Из дыры на мгновение блеснул колющий глаз, на смену ему подъехал рот.

— Кто? Облава?— прошипел рот и тотчас же уступил место уху.

Раздался чей-то голос и скрип ступеней.

Ухо, глаз, рот упали вниз, покойник весь съежился, вминаясь в угол, и перестал дышать.

— И куда вы лезете?! Куда лезете!...— раздраженно бросила хозяйка. Но покойник не мог разобрать слов.— Не сидится сверху-то вам!..

Все смолкло.

Ухо, потом глаз подъехали к дыре: тишина и темень.

Петр Иванович облегченно передохнул, перекрестился: «Кажись, ушли»,— и его забила такая сильная дрожь, что мешок подскакивал и мотался во все стороны.

Прошел битый час. Что за оказия, почему не приходит жена, уже не арестовали ль ее? Петр Иванович вылез из мешка и, расшарашив во тьме руки, тыкался в покрытые плесенью углы.

Он взобрался на лесенку и прикинул глазом к светлой щели люка. В поле зрения заблестел самовар, чашки; чьи-то толстые красные руки. Ба! Да ведь это бабка Ульяна. И самогонка. Разве войти да покаяться? А вдруг облава, и ежели при бабке сесть в мешок, обязательно выдаст. Нет, надо ждать.

— Пей,— говорит старуха, придвинув чашку хозяйке.

— Не много ли будет,— отвечает та хмельным голосом,— с непривычки-то. Уж очень крепок самогон-то...

— За упокой души... Хоть и не стоит он того... Ну, превичный ему покой,— говорит старуха и пьет.

Петр Иваныч сплюнул и прошипел:

— Чтоб те самой сдохнуть без покаяния!

— А ты не хнычь,— говорит старуха.— Слава богу, что и помер-то. Пьяница, царство ему небесное, был...

— Нет, извиняюсь, он хороший,— возражает вдова и пьет.

— Хороший? Первый поножовщик был покойничек... Первый пьяница. Все певчие пьяницы. Я сызмальства знаю его. Подзаборник, кабацкая затычка, не тем будь помянут...

Петр Иваныч стиснул зубы и сжал кулаки.

«Ну и чертова старушка!»— подумал он. Глаза его горели ненавистью, душа горела жаждой выпить. Взор его был зорок и хищен, как у ястреба.

— Он мне, каторжная душа, семь с полтиной золотом остался должен. Ха, тоже муженек!.. Уж раз подох, превичный спокой его головушке, то скажу тебе, сирота. Как-то говорит мне пьяненький: «Ох, говорит, Ульяна Сидоровна! Жена, говорит, мне наскучила, подыщи ты мне вальяжную даму из купеческого или епархиального сословия».

Петр Иваныч ударился теменем в крышку люка и проскорготал:

«Ну, только бы революция окончилась, я тебя, дьявольскую старушку, изувечу».

Хозяйка прижала к глазам платок и горько заплакала. Старуха потянулась к бутылке.

«Ах, выжрет все»,— с жадностью подумал усопший. Но старуха, налив две чашки, оставила порожнюю бутылку и вытащила из чемодана другую.

— Давайте скорей ложиться спать,— сквозь слезы сказала хозяйка.

Петр Иваныч замерз, запрокинутая голова его кружилась, затекла спина. И ужасно хотелось выпить самогону. Ну, положеньице! Черт его сунул умереть! Сидя на ступеньке под самым потолком, он засунул руки в рукава, клюнул раз-другой носом, задремал.

А когда открыл глаза, было тихо. Покойник приподнял крышку люка. Тишина, горит лампадка. Он просунул в комнату свою рыжую встрепанную голову и осторожно закорючил ногу, чтоб выбраться наверх.

Но вдруг душераздирающий визг хлестнул его колом.

С хриплым лаем, визгом, криком мимо него толстобоко протряслась старуха.

И все сорвалось с мест и понеслось: стол, самовар, окошки...

Старуха мчалась среди лунной ночи вскачь, за ней — мертвец. Старуха ухнула, упала. С маху на нее упал мертвец.

— Ульяна Сидоровна! Душечка!.. Это я — Тарелкин... Самогону, дайте самогону!..

Старуха рывкнула и заорала, и с нею заорал весь свет. Покойник ткнул кулаком в пьяную старушью пасть.

— Ульяна Сидоровна!.. Ангел...— и сгреб старуху за глотку.

Старуха вскинула к небу толстые ноги, вытянулась вся и захрипела.

«Бежать... Скорей...»

Мертвец метнулся и — по воздуху, как птица. И вслед свистки, ругань, крики:

— Держи, держи!..

Все опрокинулось и завертелось: капуста, гряды, глазастый месяц, орущая толпа людей — и красный конь пронесся с хохотом.

Петр Иваныч в сенцах. Схватил тяжелый топор-колун и притаился: пропадать так пропадать.

И первому — раз по голове, другому — раз... Свалили, вяжут.

— Ребята, к стене его!

— Как, без суда?

— Без суда... Он мертвый...

Морды, морды, морды, тыща ружей в грудь.

— Пли!!— залп.

С треском обломилась гнилая ступенька, на которой кошмарно спал Петр Иваныч, он кувырнулся в пустой, из-под капусты, чан, враз проснулся и от страшного испуга по-настоящему мгновенно умер.

СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ

*Посвящается
Льву Рудольфовичу Когану*

Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.

Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи.

Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Николай-вешний, троица, духов день — с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.

— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмущался Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета поглядежь, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!

И недолго думая образовал театральный кружок-ячейку.

Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село, — даже древние старцы и старухи.

Председатель Павел Мохов рассмеялся и колченогой старушонке Секлетинье задал такой вопрос:

— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?

— Играй сам, толсторожий дурак, — зашамкала бабка, приседая на кривую ногу, — Подай мои селедки, что по закону причитается!.. Три штуки.

Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной. Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц — сорок человек — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?

Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть! На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель Митрий Митрич, из бывших духовных портных.

Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась в великой радости. Лица у всех были в саже.

— Любящая мамаша, — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием: «Удар пролетарской революции, или Несчастливая невеста Аннушка». Пьеса со стрельбой... Поплачете и посмеетесь.

Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравился.

Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается. Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.

Репетиция шла за репетицией. Пьеса подвергалась коренной переработке и получила новое название: «Безвиная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке».

Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвиной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни — конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок.

Неутомимый Павел изготавливал огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.

Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение: «Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми рядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать в упреждение ходынки». И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением автор Мохов». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать». «Во время действия посторонних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу не выражаться».

В конце каждого плаката было: «С почтением автор Мохов».

После генеральной репетиции Мохов сказал:

— Успех обеспечен, товарищи! Будет сногшибательно.

Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.

А на другой день уехал в город, чтоб пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.

В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.

В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал был набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов»

был сорван и пошел на козьи ножки. В комнате от табачного дыма стало сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: зайкала,— и ее унес-ли...

В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ.

— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта,— взволнованно кричал он.— Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.

— Допусти, Паша!.. Ну не будь сукиным сыном, допусти. Мы где ни то с краешку... На яичек... На маслица...

— В антрахту залезем, братцы, не горюй,— утешались не попавшие на зрелище крестьяне,— всех за шиворот выдержаем! Не век же им смотреть! Половину они посмотрят, а другую половину мы.

Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь обещался приехать бородатый, а тут — здравствуйте пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко: рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попечение матери, а сам — скорей в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.

Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему передеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.

Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла.

— Промнешься, соколик, дак пожуешь.

Второй звонок подавать медлили.

В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценой крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел «для натуральности». На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип,—

получается черт знает что: петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что испугается медведь.

— Тьфу! Фефела...— выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул:— А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!

Меж тем стрелка подходила к семи часам. То здесь, то там приподымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта.

— Ну и пригожий.. Ах, патретик городской...

Таня два раза мимо проплыла, наконец насмелилась:

— Здравствуйте, товарищ!— И протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.

— Пойдемте, барышня, освежимся!— и Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.

Девушки завздохали, завозились, парни стали кричать и подкашливать, кто-то даже свистнул.

Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ванятка тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.

— Ужаси в нашем месте скука какая. Одна необразованность,— вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.

— А вы что же, в городе жили?

— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазии. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы, товарищ, женились когда-нибудь гражданским браком?— И полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.

— Как вам сказать? И да, и нет... Случалось,— весело засмеялся Васютин, и рука его не стерпела:— Этакая вы пышка, Танечка...

— Ах, право... мне стыдно. Какой вы, право, комплиментщик!

Гость и Таня торопливо шли по огороду вдоль цветущих гряд.

Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятками под березой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.

В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

— Товарищи!— появился перед занавесом Павел Мохов.— Внимание, внимание! По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где...

Так что его невозможно, сволочь такую, отыскать... То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю!

А ему навстречу:

— По новому так по новому!.. Начинай скорее, Пашка!.. Другие не жравши с утра сидят... Животы подвело!

И еще кричали:

— Это мошенство! Подавай творог! Подавай яйца назад!

Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, что не могли найти суфлера, он самолично помчался отыскивать его.

Суфлер — старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос.

Павел побежал к его избе. Так и есть — замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню...

И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.

— Зарезал ты меня! Зарезал!.. — затопал, завизжал Павел Мохов.

Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.

— Павлуха, ты? Скидывай скорей портки да рубаху! Жару много, брат!..

— Спектакль! Старый идиот! Спектакль ведь!

— Какой спектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни? — и вдруг вскочил. — Ах-ах-ах-ах...

— Запарился?

Федотыч нырнул головой в рубаху.

— Башку-то ополосни! В мыле.

Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадя.

Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу: впереди сидит, растопырив крылья, ворона, кругом — непролазные кусты цветов; на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, но там, где нужно, он столько натолкал сдобы,

что капот супруги местного торговца, женщины очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен; из-под оборок торчали сухие, в обмотках, ноги, которыми очень грациозно, впереплет и с вывертом, переступал Филат.

— Африканская свиньища на ходулях,— шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.

Попадья, виляя задом, мелко засеменила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.

— Вот так хлещет!— завистливо кто-то крикнул в задних рядах.

— Угости-ка нас...

— Мамаша! Мамаша!— выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка.— Как вам не стыдно жрать водку?!

Та откашлялась и сказала сиглым басом:

— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касася поведению своей собственной матери.

В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек... А Павел Мохов за кулисами, оглушенный басом попадья, заткнул уши и весь от злости позеленел.

— Ах, так?— звонко возразила Аннушка.— Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат... Я — коммунистка. Знайте!

— Чего, что?.. Коммунистка?! А жених? Такой благородный человек... Я тебе дам коммунистку!—загремела, как из пушки, попадья и забегала по сцене; ворона и кусты тряслись...

Павел Мохов тоже с места на место перебежал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:

— Что ты, харя, таким быком реवेशь. Тоньше, тоньше!.. Ведь ты женщина.

Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова пьесы выскочили из его памяти,— и что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.

Растерялась и Аннушка.

— Уйду, уйду,— повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впилась в беззубый рот суфлера Федотыча.

Попадья крякнула для прочистки глотки и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой:

— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество — твое имя!

— Позор, позор! Паршивый черт!..— громко зашумел из-за кулис сквозь щель Павел Мохов.— Я тебе в морду дам!

— Позор, позор!— всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.

— Позор! Паршивый черт! Я тебе в морду дам!— загремела и попадья-Филат, полагая, что эти слова подсказанны ему суфлером.

Тогда Федотыч грохнул в своей будке кулаком, презрительно плюнул.

— Тоже ахтеры называются!..

И вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены его пискливый женский голос:

— О дочь моя... Я тебя великодушно прощаю,— фистулой выговаривал Федотыч.— Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так, господь тебя благословит,— и сердито зашипел:— Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!..

Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семена ногами и горестно восклицая:

— Я ж говорю вам, что не знаю роли... Я сбилась, сбилась...— она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.

— Благословляй, дьявол!— треснул в пол кулаком суфлер.

— Господь тебя благослови!— как протодьякон, пробасила попадья.

Павел Мохов метался за кулисами.

— Занавес!.. К черту Филата!.. Ах, дьяволы. Погубили пьесу. Снова!

Но положение спас буржуй-жених. Он роль знал назубок, на сцену вышел игриво; попадья и Аннушка вновь овладели собой; Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку: из суфлерской будки несло сивухой.

Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье набекрень, отец Аннушки.

— Поп, поп!— весело зашумели в зале.— Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.

Несчастную Аннушку стали пропивать; жених с попом устраивают кутеж, гармошка, плясы, попадья вприсядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо: ай-люли; хлопают в ладоши—«биц-биц-биц!» Аннушка не любит жениха, плачет пуце. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:

— Я спасу тебя!

— Милый, милый!— бросается ему на шею Аннушка.

Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:

— Она моя! Смерть буржуйам!.. К стенке!

Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: «Биц-биц-биц!»

Перерыв длился полтора часа. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.

У актеров — как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.

— Глотай сырьем,— лечит Федотыч голос кузнеца.— Видишь, у тебя кадык завалило.

Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка, целый десяток проглотил, а толку нет.

— Не могу больше, назад лезут, проклятые...— хрипит он.

— К черту!— волнуется Павел Мохов.— Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!

— Знай глотай... Обмякнет,—бормочет Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.

Из зала густо выходила на свежий воздух публика. Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!»

Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокый попович в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая: «будьте добры» да «будьте добры!». Старому Емеле, до ужаса боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а как вышли, попросили на понюшку табаку.

Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.

Дядя Антип, из соседней деревни, постоял в раздумье и, когда улица обезлюдела, махнул рукой:

— А ну их к ляду и с камедью-то...— закинул на загорбок казенный стул и, озираючись, пошагал, благословясь, домой.— Ужо в воскресенье еще приду. Авось второй стульчик перепадет на бедность на мою...

— Внимание, товарищи, внимание!— надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов.— По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот, сделается очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях, и больше ничего. Даже лучше! Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок!

Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза. Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею — высоченный поп, тот же самый — грива, борода; только ряса по колено и ходули-ноги длинные, в обмотках.

В публике смех, возгласы:

— Пошто попадье ноги обрубили?

— А ну-ка, бабушка, спляши?

— Эй, полтора попа!!

Изрядно наспиритовавшийся Федотыч едва залез в будку; но суфлировал на удивленье ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы — одну из будки, другую от действующих лиц.

Жировушка Федотыча — в черепке бараний жир с паклей — чадил суфлеру в самый нос.

Действие на сцене как по маслу. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).

Он говорит:

— Это ребенок коммунистический, — и поет басом колыбельную:

Баю-баюшки-баю,
Коммунистов признаю...
Ты лежи, лежи, лежи
И ногами не дрожи...

— Достукалась, притащила ребеночка, — злобствует попадья. — А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят.

— О, горе мне, горе!.. — восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком длинный монолог. Она роль знает плохо, влипла глазами в будку, ждет подсказа, в будке чернохвостый огонек чадит, а Федотыч — что за диво — наморщил нос и весь оскалился.

— О, горе мне, горе!.. — взволнованно повторяет Аннушка.

Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: «Ччих!» — и огонек погас.

Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:

— Эй, Пашка! Дай-ка скорей огонька... У меня жирову... А-п-чих!.. жировушка погасла.

За сценой беготня, шепот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.

— О, горе мне, горе!.. — безнадежно стонет Аннушка, забыв дальнейшие слова.

— Погоди ты... Го-о-ре!..— кряхтит, вылезая из будки, пьяный Федотыч.— У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жировушка погасла. Нет ли, братцы, серянок у кого?

Публика с веселостью и смехом:

— На, дедка! На-на-па...

И снова как по маслу.

Аннушка так натурально убивалась над сделанным из тряпья ребенком и так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы сморкались, мужики сопели, как верблюды.

Офимьюшкин Ванятка подрядился вместо Филата за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:

— Дай титьку младенцу-то!

И баба:

— Поди упаковался ребенчишко-т... Перемени, Аннушка, ему пеленки-то.

Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча:

— Дядя ты мне или последний сукин сын?! Неужто не мог после-то нажраться? Такую, дьявол старый, устроил полемку со своей жировушкой...

По селу пели третьи петухи.

За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, для Тани очень оскорбительную.

— Эй, ахтеры!— кричали в зале.— Работайте поскорей-ча... Ведь утро скоро. Которые уж спят давно!

Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.

Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толчок и встряхивал нечеловеческий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядреной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.

Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое — пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннушки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с та-

кой загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороху: грохнет, как из пушки.

Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.

Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красотки Тани — хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

Декорация — елки и сосны, берег реки, Аннушка с ребенком сидит на камне.

— Какой хороший вечер, — говорит она. — Спи, мой маленький, спи. Чу, коровушка мычит. (За кулисами мычит корова.) Чу, собачка взлаяла. (Лает собака.) А как птички-то чудесно распевают! Чу, соловей... (Поет соловей.)

Яйца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой и соловьем, и собачкой, и коровушкой.

Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей, крикают утки, квакают лягушки, мычит корова.

— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость... — сквозь слезы говорит Аннушка. — Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями на всех фронтах. Которые сутки я голодная иду куда глаза глядят и не глядят.

Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы, хрюкает свинья.

— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!

Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет. Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткойной поясицы в пышный зад.

Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.

Наступила трагическая минута.

Павел Мохов взвел за кулисами курок.

— Ах, вот где моя изменница! — И жених кинулся к Аннушке. — Вон! Всех перестреляю!

Визготня, топот, гвалт — и сцена вмиг пуста.

Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.

Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.

— Ну-с! — крикнул жених и дернул ее за руку.

Павел Мохов еще подбавил пороху и выставил в цель дуло своего самопала. Он в пьесе не участвовал, он к сцене совершенно непригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами. И уж всегда, бывало, грохнет момент в момент.

Здесь он точно так же ограничил себя этой на взгляд малой, но очень ответственной ролью.

— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны,— вся трепеща, сказала Аннушка буржую-жениху.

— Ничего подобного!.. Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная!— И жених направил пистолет в грудь Аннушки.

— Ах, прощай, белый свет!..— закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.

Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.

Зал разинул рот и перестал дышать. За сценой шипели в уши Мохова:

— Вали-вали-вали еще, Пашка, вали...

— Умри, несчастная!! Во второй раз говорю!— свирепо крикнул жених.

— Ах, прощай, белый свет!..— отчаянно простонала Аннушка и закачалась.

Павел Мохов трясущейся рукой спустил курок, но самопал опять дал осечку. Злобно ругаясь, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.

Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки.

— Умри, несчастная! Последний раз говорю тебе!..

Кто-то крикнул в зале:

— Чего ж она, дура, не умирает-то!

— Ах, прощай, белый свет!..— третий раз простонала Аннушка, и самопал за кулисами третий раз дал осечку.

Дыбом у Павла Мохова поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул: «Тьфу!»— и нырнул за кулисы.

Аннушка же совершенно не знала, что ей предпринять,— наконец закачалась и без всякого выстрела упала.

— Занавес! Занавес давай!— скандал на всю губернию, суетились за сценой.

Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.

Весь зал подпрыгнул, ахнул.

Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул и, подняв на голове будку, побежал с нею по сцене. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали — и поползли, ничего не соображая.

Занавес плавно стал задерживаться.

— Товарищи! — быстро поднялся на стул Васютин. — Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культгаитпросвета...

Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики:

— Жалаим!

— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски...

— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза, бывшие хоромы помещика, обращается в Народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: «Автора, автора!»

И зал, ничего не понимая, загремел за товарищем Васютиным.

Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал. Васютин пошел за сцену и в недоумении остановился.

— Товарищ Мохов! Как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдемте, скорей.

Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впилсь в него сотни горящих глаз.

А Федотыч меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.

— Товарищи! У вас теперь свой Народный дом, свой драматический кружок. А кто организовал его? Да конечно же бывший красноармеец товарищ Мохов. Ежели спектакль прошел и не совсем гладко, это ничего, ведь это ж первый опыт, товарищи. Вот пред вами тот самый автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались... Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Bravo! Bravo! — захлопал Васютин в ладоши, за ним — сцена, за ней — весь зал.

— Бра-а-во! Биц-биц-биц! Bravo! Молодец, Пашка! Ничего... Жалаим... Павел, говори! Чего молчишь?..

— Почтим от всех присутствующих! Ура!! — надрывался Васютин.

Федотыч плюнул в кулак и, пошатываясь, подкрался сзади к своему племяннику.

Павел Мохов взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:

— Товарищи! Да, я действительно есть коллективный сочинитель...— но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.

— Я те дам, как дядю за грудки брать!— крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч.— Я те почту от всех присутствующих!..

На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красotka Таня. Она сказала дома, что едет в город на фабрику, будет там работать и учиться на курсах. В школе же после «Безвинной смерти Аннушки» недосчитались семи казенных стульев.

Павел Мохов от превратного удара судьбы — и спектакль не удался, и Таню проворонил — долго грустил.

Его утешал пьяненький Федотыч.

— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее приурезал,— шамкал он.— А вот ежели такие театеры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок.

— Ничего, дядя, все наладится... Вот только ученья во мне недостаёт, это факт. Поеду-ка я за просвещением в город. А как вернусь, уж вот спектакль загнем, уж вот загнем!.. И обязательно библиотеку устрою, чтоб наше Огрызово село было передовым...

И Павел Мохов направился в город на курсы избачей.

ШЕРЛОК ХОЛМС — ИВАН ПУЗИКОВ

1. Сенцо

День был душный, жаркий. К вечеру соберется гроза. Педаром деревья так задумчивы, так настороженны.

В ограду бывшего имения господ Павлухиных — ныне совхоз «Красная звезда» — въехал на сивой лошаденке кривобородый, с подвязанной скулой, рыжий мужичок в лаптях. Соскочил с телеги, походил с кнутом от дома к дому, — пусто, на работе все.

— Тебе кого? — выглянула из окна курчавая, цыганского типа голова.

— Да мне бы Аннисима Федотыча, управляющего, — ответил мужичок, снимая с головы войлочную шляпу-грешневик.

— Я самый и есть, — сказала голова.

— Приятно видеть вашу милость. Желательно нам сенца возик... Потому как понаслышались мы...

— Здесь не продается. Это учреждение казенное.

— Да ты чего!.. Да ведь Серьгухе нашему вчера продал, сельцовскому. Хы, казенное... Вот то и хорошо! Чудак человек!

— Зайди. Шагай сюда.

А в ночь действительно собралась гроза. Тьма окутала всю землю, освежающий дождь сразу очистил воздух, небо ежеминутно разевало огненную пасть, чтобы вмиг пожрать всю тьму, но каждый раз давилось, кашляло и рычало злобными раскатами. Все живое залезло в избы, в норы, в гнезда. А вот вору такая ночь — лафа.

Наутро — хватъ, батюшки мои! — забегали в совхозе: какой-то негодяй похитил в ночь все металлические части самолучшей молотилки.

Управляющий Анисим Федотыч рвет и мечет: ведь на днях комиссия из городу приедет инвентарь ревизовать, да и молотьба недели через три. Что делать?

Сбились с ног, искавши. В ближней деревне Рукохватовой у подозрительных людей пошарили, — конечно, не нашли.

Анисим Федотыч, природный охотник и собачник, даже привлек к розыскам свою сучку Альфу. Но сучка, обнюхав молотилку, привела всю компанию из понятых и милицейских к избе красивой солдатки Олимпиады, к которой тайно похаживал управляющий. Кончилось веселым смехом всей компании и конфузом Анисима Федотыча. Он сучку тут же выдрал.

Совхозский писарь Ванучков сказал:

— Я бы присоветовал вам обратиться к сыщику Ивану Пузикову. Он, по слухам, человек дошлый, знаменитый.

— А ну их к черту, этих нынешних... — возразил управляющий. — Каторжник бывший какой-нибудь.

— Напрасно. — Писарь стал рассказывать совхозу о подвигах сыщика.

В конце концов Анисим Федотыч согласился.

— Поезжай.

Писарь оседлал каурку — да на железнодорожную станцию, что за двадцать верст была.

— Ладно, разыщу, денька через три ждите, — только и сказал Иван Пузиков, агент «угрозы», то есть уголовного розыска.

И действительно, в конце третьих суток — уж время ужинать — взял да и явился в совхоз «Красная звезда» сам-друг с товарищем Алехиным.

Посмотреть — юнцы. Особенно Алехин. Правда, Пузииков важность напускает: между строгих бровей глубокая складка; правда, и глаза у него стальные, взгляд холодный, твердый, и рот прямой, с заглотом, а подбородок крепко выпячен. Вообще Пузииков — парень ого-го. То ли двадцать лет ему, то ли пятьдесят.

Осмотрел, обнюхал их Анисим Федотыч со всех сторон, — да-а, народ занятный.

— Ну что ж, товарищи, пойдете-ка. Темнеет.

— Успеем, куда торопиться, — сказал Пузииков. — А вот чайку хорошо бы хлебнуть.

— Ежели ваше усмотренье такое, то чаю можно... — недовольно проговорил совхоз. — А на мой взгляд, надо по горячим следам.

— Ерунда, папаша! — ответил Иван Пузииков. — И не таких дураков лавливали.

Чайку угроза любила попить. А тут варенье да пирог с мясом, с яйцами.

За чаем Пузииков завел рассказ. Управляющему и нейметса, и послушать хочется — очень интересно угроза говорит.

— А почему я по этой части? Через книжку, через Шерлока Холмса. Тятка меня к сапожнику определил в Питер. Я ведь из соседней волости родом-то, мужик. Пошлет, бывало, хозяин за винишком по пьяному делу — ну, двугривенный и зажмешь. Глядишь, на две книжки есть. Эх, занятно, дьявол те возьми. Все мечтал, как бы это сыщиком стать; мечтал-мечтал, да до революции и домечтался. Теперь я сам русский Шерлок Холмс, Иван Пузииков.

— Слышал, слышал, — пуше заулыбался совхоз, налил всем вина, выпили. — Слышал, как самогонщиков ловите.

— Всяких, папаша, всяких, — вдруг нахмурился Иван Пузииков и почему-то дернул себя за льяной чуб. — Да толку мало, вот беда.

— Почему?

— Город выпускает. Мы ловим, а город выпускает, сто чертей. Ведь этак и самого могут ухлопать. У меня и теперь несколько ордеров на арест. Вот они. — Иван Пузииков вытащил из кармана пачку желтеньких бумажек и крутнул ими под самым носом управляющего.

— Ха! Вот какие дела! — воскликнул тот, — А по-моему, мазуриков щадить нечего. Иначе пропадем.

— Кто их шадит! У меня все на учете, папаша. Я все знаю. Например, в одном совхозе, и не так чтоб далеко от вас, управляющий самогон приготавливает на продажу. Два завода у него.

— Кто такой?

— Секрет, папаша. А в другом совхозе хлеб продает, овец, телят. А в третьем — сено.

— Се-е-но! — управляющий уставился в ледяные глаза угрозы, и по его спине пошел мороз.

— Да, папаша, сено.

— В тюрьму их, подлецов!

— Все там будут, папаша, все. Только не сразу, помаленьку, чтоб дичь не распугать.

— Пейте, товарищи, винцо... Позвольте вам налить.

— Например, ваш рабочий, Рябинин Степан, револьвер имеет. Сам отдаст, вот увидите. А знаете, откуда он взял? Вот и не скажу. А знаете, кто нынче на пасхе мельника ограбил, латыша? А я знаю: два брата Чесноковых из вашей деревни.

— Не может быть! Чесноковы исправно живут. Откуда это вы знаете, товарищ? — вытаращил глаза управляющий и подумал: «Ну и ловко врет».

— А как же Ивану Пузикову не знать, папаша?

— Надо в тюрьму. Ведь ордер-то есть?

— Ах, папаша! — Пузиков таинственно сдвинул брови и переложил трубку в левый угол кривозубого рта. — Ну вот, скажем, к примеру, арестую я завтра по ордеру вас (совхоз заерзал на стуле и пытался улыбнуться), увезу в город, а через неделю вы дадите взятку, и вас выпустят. Что ж, похвалите меня? (Совхоз выдавил на лице улыбку.) А вдруг вам вползет в башку подослать, скажем, того же Рябинина Степана, он и ахнет пулей из-за куста.

— Да-да-да, — растерянно заподдакивал совхоз, и обвисшие усы его задергались. «Однако с этим чертом Пузиковым ухо остро держать надо».

— Ну, товарищи, еще по стакашку, коли так... Для храбрости. Да и пойдем. Полночь. Самая пора.

— Зачем мы, папаша, будем ночью тревожить порядочных людей. А вот нет ли балалаечки у вас? Сыграть хочется, а ты, Алехин, попляши.

Управляющий сердито буркнул:

— Нету, — и опять подумал: «Ни черта им, молокососам, не сыскать».

Утром Анисим Федотыч встал рано, отдал приказания и вошел в комнату, где ночевала угроза.

Пузиков и Алехин сладко храпели.

— Дрыхнут.

Управляющий сходил на мельницу, распушил плотников, что чинили плотину, и когда вернулся,— угроза умывалась.

— Чай пить некогда,— сказал Пузиков,— а вот на скорую руку молочка.

Выпили с Алехиным целую кринку, и оба заторопились.

— Кого из рабочих подозреваете, папаша?

— Никого.

— Правильно. А из Рукохватовой?

— Андрея Курочкина. А еще, пожалуй что, Емельян Сергеев. Тоже вроде вора, говорят.

— Ерунда,— нахмурился Пузиков.— Не они. Я всю деревню вашу насквозь знаю. Деревня — тьфу! Все три волости... Как на ладошке.

— Скажите, какие способности неограниченные,— восторженно сказал совхоз, а под нос пробурчал:— Хвастун изрядный.

Алехин туго набил махоркой кисет и подал Пузикову портфель.

— Ну, теперь, папаша, за мной в деревню,— сказал Пузиков.— Учись, как жуликов ловит Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс.

Он быстро пересек двор. Широкоплечий, кривоногий, низенький, куртка нараспашку, из-под козырька сдвинутой на затылок кепки лезет огромный лоб.

— Не сюда, товарищи, не сюда,— кричит едва поспевавший совхоз,— в обратную сторону!

— За мной, папаша!

Он, словно сто лет здесь жил, перелез через изгородь, обогнул беседку и боковой тропинкой подошел к скотному двору, где четверо рабочих накладывали на телеги навоз...

— Здорово, Степан Рябинин!— крикнул он весело и твердо.— Бросай вилы, айда за мной! Понятым будешь. Я — Иван Пузиков, агент угрозы. Понял?

Степан Рябинин — черный и сухой скуластый парень, в ухе серьга — удивленно посмотрел на незнакомца, ткнул в навоз вилы и сказал:

— Ладно.

Повернули назад. Угроза передом. Свернули влево.

— Не сюда, товарищ Пузиков, вправо надо,— опять сказал Анисим Федотыч.

— Не сбивай, папаша, Слушай-ка, Степан! Ты ведь в этой казарме живешь, в номере седьмом, кажется?

— Так точно,— ответил Степан. Голос у него скрипучий,— не говорит, а царапает словами уши.

— Зайди и возьми, пожалуйста, наган. А то, сто чертей, опасно... Может быть, дело будет. Ну, живо!

— Это какой такой наган?— тряхнул серьгой Рябинин.— Чего-то не понимаю я ваших слов.

— Фу ты!— возмущился Пузиков.— Да револьвер. Револьвер системы «наган». Понял?

— Нет у меня никакого револьвера.

— Нету? А куда ж ты его дел?

— Не было никогда. С чего вы взяли?

— Не было? Это верно говоришь? Не врешь? А из чего ж ты грозил застрелить председателя волисполкома, помнишь? Пьяный, на гулянке, в спасов день. Помнишь? Почему ты его вовремя не сдал?

Степан Рябинин чувствовал, как весь дрожит, и напрягал силы, чтобы овладеть собой.

— Нету у меня револьвера! Сказано — нету!

— Да ты не волнуйся.— От тенористого резкого голоса Пузиков вдруг перешел на спокойный ласковый басок.— Чего зубами-то щелкаешь? Ну, нету и нету. Верю вполне, и пойдете все вперед.

Анисим Федотыч ядовито ухмыльнулся.

Степан Рябинин то шагал как мертвый, то весь вспыхивал и в мыслях радостно молился:

«Слава богу, пронесло».

До деревни с версту. Анисим Федотыч был с брюшком, фукал, отдувался: очень емко шли; прорезиненный дождевик его со свистом шоркал о голенищи.

В деревню вошли с дальнего конца. Пузиков бегом к избе, вскочил на завалинку — и головой в открытое окно:

— Эй, тетя! А Фома Чесноков дома?

— Нету, батюшка. В поле навоз возит.

— А брат его Петр?

«Вот леший! Неужто всех поименно знает?»— подумал совхоз.

— Петруха в кузне. А ты кто сам-то, кормилец, будешь?

— Сахарином торгую. Ну, до свиданья. Увидимся.

Кузнец Петр Чесноков ковал какую-то железину.

— Бросай-ка, Петр Константиныч. Идем скорей с нами. Понятым будешь.

— Каким это понятым?— И Петр грохнул молотом в красное железо.— А кто ты такой, позволь спросить?

Лысая голова его была потная, и все лицо в саже, только белки блестят, как в темных оврагах — весенний снег.

Вдоль деревни шли гурьбой: еще пристали председатель сельсовета и двое милицейских.

Иван Пузиков подвигался медленно: остановится, посмотрит на избу, дальше.

— А в этой, кажись, Миша Кутькин живет?— спросил Пузиков.— Мой знакомый... Надо навестить.

Кутькин, мужичок не старый, возле сарайчика косу на бабке бил. Бороденка у него белая, под усами хитрая улыбка ходит. Взглянешь на усы, на губы — жулик; взглянешь в глаза — нет, хороший человек: взор ясный и открытый.

— Здравствуй, Миша,— ласково сказал Пузиков.— Нешто не признал? А помнишь, вместе на свадьбе-то у Митрохиных гуляли? Я — Ванька Пузиков, из Дедовки.

— А-а-а, так-так-так... Чего-то не припомню,— сказал Кутькин, подымаясь, и стал растерянно грызть свою бороденку.

— Ну, как живешь, Миша? А это у тебя что?— И угроза заглянула в сарайчик.— Мельницу, никак, ладишь? Очень хорошо! А железо-то не купил еще? Ну, ладно. Вот что, Миша! А можно мне в избу к тебе, бумажонку написать.

Сухопарая тетка Афимья низко поклонилась навстречу вошедшим и суетливо стала прибирать посуду: чашки, ложки разговаривали в трясущихся ее руках. Пузиков вильнул на ее руки глазом.

Все сели, кроме хозяина избы, кузнеца и Степана.

— Ну-ка, милицейский, пиши акт, а я буду говорить тебе.— Пузиков задымил-запахал трубкой и достал из портфеля письменные принадлежности.— Пиши.

Милицейский, курносый парень, сбросил пиджак и приготовился писать. Лицо Пузикова было спокойно, простоудушно: двадцать лет. Он диктовал вяло, уставшим голосом, словно желая отделаться от этой ненужной проволочки и поскорей уйти. Потом голос его внезапно зазвенел:

— Написал? Пиши. «Постановили: Михаила Кутькина, укравшего в совхозе «Красная звезда» принадлежности молотилки, немедленно арестовать».— Глаза его зорко бегали от лица к лицу,— ему сразу стало пятьдесят.

Мишку Кутькина, хозяина избы, точно кто бревном по голове.

— Да ты, товарищ, обалдел!.. Какой я вор?! Что ты?!

— Миша, да ты не ерепенься,— мягко сказал Иван Пузиков и пыхнул густым дымом.— Разе я делаю, значит — делаю правильно. Ведь я знаю, где у тебя вещи... В подполье, под домом. Верно?

Кузнец Чесноков, крикнув, моргнув тетке Афимье, та схватила ведро и быстро вон. Мишка Кутькин сгрел себя за опояску, но руки его тряслись,— видно было, как плещутся рукава розовой рубахи.

— Шутишь, товарищ,— слезливо сказал он.— Обижаеть ты меня.

— Ничего, Миша, не обижаю. Писарь, пиши! «Во время составления акта кузнец Петр Чесноков подмигнул Афимье Кутькиной, а та поспешно вышла, чтоб перепрятать краденое».

— Вот те на!— уронил кузнец, как в воду клещи.

Мишка Кутькин ерзал взглядом от бельмастых кузнецовых глаз да к двери, и слышно было, как зубы его стучат. Анисим Федотыч удивленно вздохнул.

— Алехин! Где Алехин?— И голова Пузикова завертелась во все стороны.— Тьфу, сто чертей! опять с девками канителится... Степа, будь друг, покличь моего помощника.

Степан Рябинин повернулся и на цыпочках вышел вон.

— Да! Вот что, товарищ Петр Чесноков. Скажи ты мне откровенно, как священнику,— кому ты делал собачку к револьверу?

Кузнец поднял брови, отчего лоб собрался в густые складки, и глупо замигал.

— Никому не делал... Совсем даже не упомню.

— Ах, Чесноков, Чесноков, ах, Петр Константиныч,— застыдил, замотал головой с боку на бок Пузиков, запищелкивал укорно языком.— А я-то на тебя надеялся, что все покажешь: борода у тебя большая, человек ты лысый, прямо основательный человек, а вдруг — запор. Ая-яй... А я еще за тебя перед городскими властями заступался. Те, ослы, на тебя воротили, что ты с братом ограбил мельника. Ая-яй!

Кузнец попятился, взмахнул локтями.

— Спаси бог, что ты, что ты!..

— Да ты не запирайся.

— Никакого мельника я не воровал.

— Да я не про мельника. Разве в мельнике вопрос факта? Я про револьвер. Степан Рябинин откровенно сознался мне, что револьвер ему ты чинил, ты!

Кузнец засопел, потом прыгающим голосом ответил:

— Извините, запямятовал. Действительно. Степка правильно показал — его был револьвер... Точь-в-точь... Ну, как он просил не говорить...

— Пиши! — резко крикнул Пузиков. — «По показанию Петра Чеснокова, он чинил револьвер, принадлежащий Степану Рябинину, который системы «наган»...»

Тут скрипнула дверь и с воем ввалилась баба, за ней Степан и Алехин с мешком.

Баба упала в ноги Пузикову и захлюпала:

— Ой, отец родной... Ой, не загуби...

— Стой, тетка Афимья, не мешай, — ласково сказал Пузиков и еще ласковей к Степану: — Степан, голубчик, не в службу, а в дружбу, будь добр, притащи нам револьвер скорей. Вот ты отпирался давеча, а кузнец, спасибо ему, показал, что твой... И, ради бога, не бойся, Степа. Ничего не будет, до самой смерти... Ну, пожалуйста.

Степан заметался весь, блеснула в ухе серьга, ожег кузнеца взглядом и, пошатываясь, вышел вон.

— Вставай, Афимьюшка, вставай, родная...

— Ой, батюшка ты мой... Сударик милый цейский...

— Эка беда какая, что хотела перепрятать, — участливо говорил Пузиков. — До кого хошь доведись. Всякий дурак бы так сделал... Даже я. Под овин, что ли?

— Под овин, сударик ты мой, под овин...

Он, не переставая, пыхал трубкой, тугой кисет пустел, и комната тонула в дыму, как в синем тумане. Не торопясь, вытряхнул все на стол из принесенного Алехиным мешка.

— Э-эх, добра-то что. Все ли, нет ли? Папаша, а?

— Чего-с? — У Анниси́ма Федотыча рябило в глазах и кончики ушей горели, в голове чехарда, он ничего не мог понять, только шептал: «Вот так дьявол!»

— Да, — раздумчиво говорил между тем Пузиков. — Тут не хватает двух веществ: перекидной ручки — это той самой, ты над ней пыхтел, Чесноков, в кузнице, когда мы пришли... А кроме того, двух медных болтов и шайб с гайками. Они тоже у тебя, товарищ Чесноков... Ну, пойдёмте.

— Ей-богу, нет!.. Рази меня гром! Отсохни борода! Да чтоб утробу мою червь сосал!.. Знать не знаю!

Пузиков очень внимательно перебирал вещи в двух сундуках кузнеца. Кузнец трясся так, что дрожала вся изба.

— Эка у тебя добра-то сколько, — спокойно говорил Пузиков. — А? Вот буржуй... Ну, это, между прочим, ничего. Похвально. Нищий всегда нищим будет. Groш ему и цена. А ты, видать, человек хозяйственный.

Жирная баба стояла у скамейки, как огромное изваяние; она обхватила ручищами жирную грудь и охала басом.

— Чего ты охает? Грыжа, что ли, у тебя? — сказал Пузиков.

— Да как же мне не охать-то... Ох!

— «Ох, ох...» Экая ты трупёрда, деревенщина... А еще такая полная мадам. Стыдись! «Ох, ох...» Вот тебе и ох... Вот видишь, какая рукавица-то? Знатная рукавичка. При царе три целковых стоила. Кожа-то — прямо бархат... а ты — «ох...».

— Никаких болтов у меня, товарищ, господин сыщик, нету. Сами изволили усмотреть... — словно по камням, впереверт, вперекувыр сказал своим голосом кузнец.

— Что? — фукнул Пузиков из трубки в самый нос ему. — И болтов нету, и рукавички другой нету. Болты — черт с ними, не в болтах факт, болтов у тебя и быть не может никаких. А вот рукавичку мне подай.

— Потерявши рукавичка. Выпивши, из города вез... По... потерявши.

— Ты потерял, а я нашел... Сколько даешь?

— Шу... шутить изволите.

— А это что? Она? — И Пузиков вынул из портфеля другую рукавицу. — А нашел я ее у мельника в избе.

Баба охнула и шлепнулась задом на скамейку.

— И знаешь, товарищ Чесноков, когда? На другой день, как вы его ограбили. А ежели не веришь, дак в обеих рукавицах в середке мельникова мета есть. Тебе и невдомек. Ну-ка, понятия, рассмотрите.

Кузнец упал на колени.

— Наш грех, наш грех... Не губи, ради Христа.

Бодро вошел Степан, взглянул — и руки у него сразу опустились.

— Что, револьверчик притащил? Молодчина, Степа. Давай сюда. Вот и все, кажись. — Иван Пузиков обвел компанию торжествующим, улыбчивым, но все же крепким взглядом. — Ну вот, ребята, мы тихо, смирно, не торопясь, разыграли, как в кинематографе, не хуже, чем в «Собаке Баскервилей». Товарищи милицейские, этих трех гусей арестовать! А придет Фомка Чесноков, и его, злодея, в ту же дыру.

Все стояли бледные и тряслись. Больше всех — и неизвестно почему — волновался Анисим Федотыч.

Пузиков, заложив руки в карманы, произносил поучительную речь.

— Есть такой заграничный сыщик, Шерлок Холмс. Он хотя и спец считается, но, будучи по службе у буржуазной власти, хватает без разбору всех мазуриков. Я же, Иван Пузиков, сыщик российский, и, кроме того,— сын своего народа. Поэтому передайте мужикам, что ваша деревня наполовину воры. Этого ни в каком специальном случае я не потерплю! Далее, по порядку, участь Чесноковых — тюрьма! Хотя они, допустим, и обокрали мельника, который богатеи, однако за них, товарищи, безвинно арестован мужик из бедноты. Второй пункт предложения: Степан Рябинин, как возвративший револьвер по своему инициативу, освобождается из-под ареста. Можешь идти, Степан! Что же коснувшись Михаила Кутькина, то я ничего, товарищи, сделать не могу. Ты, Миша, сам посуди: украл ты государственный механизм от молотилки, то есть достояние республики. Это называется — позор! Укради ты не только механизм, а, скажем, всю молотилку у какого-нибудь кулака контрреволюционера — совсем десятая статья. И я, может статься, во времена обыска все рыло бы себе своротил об эту самую молотилку, а сделал бы вид, что не нашел. Потому что уравнение имущества социализм не возбраняет. Азбука коммунизма гласит прямо. Ты же, как сказано, украл достояние республики, да еще перед самой страдной порой, а ведь эта самая молотилка предназначалась обслужить целых три деревни. И нет тебе даже оправдания, что ты несознательный элемент, что-то, а это ты, как хозяин и мужик самосильный, должен был сообразить. До свиданья, Миша!

Угроза надувалась у Анисима Федотыча заслуженным чаем и ела пироги.

Анисим Федотыч волновался. От пылающих ушей загорелись щеки, и воловья шея налилась кровью, а глаза — как у попавшей в капкан лисы.

«Все, дьявол, знает. Пожалуй, знает и про сено».

— Товарищ Пузиков,— начал он, ероша курчавые черные, с синью, волосы.— За такое ваше самоотверженное старание я своею властью обязан вас вознаградить, не щадя средств. Что бы вы с товарищем пожелали?

— Что бы пожелали?— Пузиков откромсал долю пирога.— Я бы пожелал вас, папаша, арестовать.

— Ха-ха-ха,— обомлев, захохотал, словно залаял, Анисим Федотыч.— За что?

— За сенцо, папаша, за сенцо.

Совхоз вдруг перестал смеяться, глаза его округлились, и густые брови сразу насели на нос. Он резко стукнул в стол.

— Мальчишки! (Алехин вздрогнул.) Сопляки! Я вам не Мишка Кутькин! Я вам...

И, закусив удила, понесся, не в силах удержаться.

Пузиков набивал трубку, сторожко посматривая, как бы управляющий не смазал его в ухо.

— Постой, папаша... Да вы не петушитесь... Ведь свидетели есть,— спокойно сказал он.

— Свидетели?.. Я те покажу свидетели!

— Алехин, покличь-ка мужичонку-то... Как его... Тимоху...

— Какого Тимоху?— с сердцем спросил юнец, искренне сердясь и на товарища и на совхоза.

— Фу ты, боже мой!.. Какого, какого! Ну, я сам схожу.— Пузиков схватил портфель и вышел.

Совхоз все время взад-вперед ходил по комнате, правляя ворот — шее было тесно. Шагнул к шкафу, выпил большой стакан вина.

— Сыщики... Тоже считаются сыщики. Оскорблять порядочных людей... Ответственных работников... Слетите, голубчики!.. Оба слетите, сопляки паршивые... Я вас!

Но вот в дверях показался дядя, — ну конечно, тот самый: лапы, синяя рубаха, скула подвязана, и рыжая бороденка кривулом. У совхоза лицо стало длинным и открылся рот. Мужик снял с головы грешневик, перекрестился и прямо в пояс:

— Здорово, Анисим Федотыч... Здорово, милячок. А я опять за сенцом к тебе... До-обрецкое сенцо.

— Что ты мелешь? Кто ты такой?— злобно прохрипел совхоз, а в голове, как молния: «Вот скандал! Турну, пока Пузикова нет». — Пошел вон! Здесь казна... Ступай, ступай.— И кулаки совхоза крепко сжались.

— Это само хорошо, что казна... Ты не гайкай,— чуть попятился мужик.— Бесстыжие твои глаза. Жулик ты казенный!.. Вор!..

— Убирайся вон, рыжий черт!— И совхоз остервенело сгреб его за шиворот.— Вон!

Мужик захрипел, треснула рубаха.

— Караул, караул!.. Эй, Пузиков!..

— Вон! В тюрьму, подлец!!

Вдруг словно бомба ахнула:

— Ах, ты так, папаша? А ну!— Мужик рванул, и совхоз, взглянув погами, грохнулся спиной в пол.

Мужик, тяжело сопя, стал снимать с себя бороденку и парик.

— Пузиков!— простонал управляющий.— Это ты?

— Я самый,— сказал тот и протянул управляющему руку.— Ну, папаша, подымайся.

Алехин во все горло хохотал.

На этот раз все обошлось благополучно. Пузиков так и сказал, прощаясь:

— На этот раз, папаша, ничего... Больно пироги хороши. Только помни!

Вечером, собрав всех рабочих, Анисим Федотыч угостил их самогоном и держал речь:

— Вот, товарищи, жулик сразу и влопался. Мишка Кутькин... А вы как были честные труженики, так и оставайтесь. Да здравствует советская власть!

Анисим Федотыч сена больше ни-ни-ни. А вот когда обмолотили рожь,— урожай в «Красной звезде» нынче отменный,— хлебцем стал помаленьку поторговывать. И то с великой опаской, по мешочку, самым знакомым мужикам.

Первым приехал поздним вечером Антон Седов.

— Ради Христа, ржицы продай... Весь хлеб градом пошло.

Антону Седову как не уступить — закадычный, можно сказать, друг.

Но совхоз был так напуган тем проклятым из угрозы, что долго и подозрительно всматривался в мужика, как индюк в чужого гуся. Потом подвел его вплотную к лампе.

— А что это у тебя, дядя Антон, в бороде как будто что-то ползет,— и сильно рванул его за густые клочья бороды. Борода оказалась природной, собственной.

2. Пуговка

— Ваня,— сказал Алехин своему другу, белокурому молодому человеку с прямым широким ртом,— к тебе пришли.

Тот сделал стариковское лицо и, прихрамывая, вышел в кухню.

— Извиняюсь, товарищ. Вы Иван Пузиков, наверно? Я со станции Павелец, весовщик Мерзляков, из комитета служащих. У нас, извольте ли видеть, систематические хищения из вагонов вот уже полгода. Только протоколы составляем, а поймать не можем...

— Знаю,— сказал белокурый и задымил трубкой.— Там у вас целая шайка работает. Они у меня все наперечет, как пальцы. И скажите, что Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс, уже давненько на вашей станции сидит... Да он же с вами знаком.

— То есть как? Позвольте...— опешил Мерзляков.— Значит, вы не Пузиков?

— Так я вам и сказал. Ха! Может, Пузиков, а может, не Пузиков. Возможно, что Пузиков-то вот который,— показал он на Алехина,— а может, и я... Это сокрыто мраком тайны. Скажите вашим, что шайка на днях будет обнаружена самым удивительным способом... Прощайте. Мне больше некогда с вами толковать.

Он завалился на койку и пролежал колодой до самого вечера, от нечего делать поплеывая в потолок.

После обедни, в праздник, пришел к своему будущему тестю, торговцу Решетникову, станционный конторщик Бабкин, большой говорун и гитарист. Пили кофе, ели пирог, ну для праздничка, конечно, клюкнули.

Невеста Варя хотя и рябовата и чуть косила на правый глаз, однако ничего себе, Бабкину годится: приданого порядочно папаша обещал.

— Да,— сказал Бабкин, покручивая большие черные усы.— Это доморощенные сыщики, вроде Пузикова, ни черта не стоят. А вот настоящего Шерлока Холмса бы сюда: в два счета — раз, раз — и пожалуйста бриться.

— Очень надо,— сказал торговец недружелюбно.— А я бы не желал. Черт с ними, крадут — и молодцы. Хоть народу в руки перепадает. А то ка-а-азна. Какая, к свиньям, казна! Это не прежние времена!

— Ах, папаша!— воскликнул Бабкин.— Странно даже слушать мне...

— А потому, что молод ты. Например, прикатили мне на прошлой неделе бочонок алеонафту по тайности и за грош отдали. Так что же, неужто отказываться?

— Ах, папаша!.. Опасно это. Лучше бы вы не говорили мне.

Вечером того же дня, не дожидаясь прихода сыщика Ивана Пузикова, весовщик Мерзляков, чтоб выдвинуться по службе, организовал свою собственную охрану. Пять человек доброхотов, тайно от казенной охраны, темной ночью зашли под вагон груженого поезда.

Мерзляков чиркнул спичку, чтоб закурить, и при вспыхнувшем свете вдруг обнаружил, что в их пятерке лежит пластом шестой, посторонний.

— Кто это?— оторопело спросил Мерзляков.

— Чшшш...— прошипел шестой и зашептал:— Нельзя курить... испугнете. Чшш... Идут!

«Ага, это Иван Пузиков, сыщик»,— мелькнуло у догадливого Мерзлякова.

Все шестеро впились вытаращенными глазами в лениво прошагавшие вдоль вагона четыре пары ног. Неизвестный шестой выполз на брюхе и повернул голову вслед уходящим.

— Четверо,— прошептал он.— Кажись, с ними ваш конторщик Бабкин. Лезут в третий от нас вагон.

Он вдруг вскочил, крикнул:

— За мной!— и, выстрелив в воздух, помчался вдоль поезда.

Среди мрака раздались путаные крики:

— Руки вверх! Караул! Караул!.. Стой, ни с места!..

Куча тел, тузя друг друга, каталась по земле.

Конторщик Бабкин, Варечкин жених, отбежав в сторону, кричал:

— Стойте, дьяволы!.. Ведь это мы, свои!.. Мы пломбы проверяем на вагонах. А вы нас... Тьфу!

Запыхавшись, примчалась с винтовками и казенная охрана.

Шли к вокзалу сконфуженные. Глупее всех чувствовал себя Мерзляков.

— Что ж ты, Мерзляков, неужто ослеп, своих бьешь,— весь дрожа, стал пенять ему жирный дорожный мастер Ватрушкин и сморкнулся кровью.

— Извиняюсь, Нил Данилыч,— сочувственно проговорил Мерзляков.— Как это ни прискорбно, но мы приняли вас за жуликов... Очень извиняюсь...

— От твоего извиненья у меня во всей башке звон идет. Этак садануть...

Мерзляков внезапно остановился:

— А где же этот, незнакомый-то?..

Меж тем незнакомый поспешно шагал в ближайшую деревеньку, в которой вчера снял пустую избу старого бобыля.

Вскоре пришел к нему Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. За последнее время Пузиков появлялся у своего

помощника Алехина на какой-нибудь час, всегда торопился и, сказав нужное, уходил с мешком под мышкой.

— Ну, как?— спросил он Алехина.

— Плохо,— виноватым голосом ответил тот и рассказал все подробно про недавний бой возле вагонов.

— Дурак,— мрачно и насмешливо произнес Пузиков. Нахмурился, покрутил льяного цвета волосы свои, потом расхохотался.— Здорово наклати?

— Не надо лучше,— улыбнулся Алехин.— Я какого-то раскоряку за машинку сгреб, так он на манер как заяц заверезжал.

Пузиков сдвинул брови.

— А какой из себя Бабкин?— спросил он.

— Черноусый такой, в кожаной куртке. Он сватается за дочь лавочника.

— А, знаю,— сказал Пузиков.— Надо будет за ним последить.

Алехин изумленно уставился в лицо товарища.

— Как, за конторщиком Бабкиным?

— Эх, щенячья лапа!— воскликнул Пузиков.— Неужто не понимаешь ничего?

— Нет,— откровенно сказал Алехин.— А в чем вопрос?

— Ну, ладно. По окончании поймешь.

Утром Мерзлякова подняли в конторе на смех. Особенно ядовито издевался помощник начальника станции Алексей Кузьмич Бревнов, рыжий вислоухий франт.

— Хотел выслужиться, любезнейший. Каждое дело ума требует. Ха-ха! Так наклать своим...

Мерзляков даже рассердился.

Но под конец занятий Алексей Кузьмич потрепал начальственно весовщика Мерзлякова по плечу:

— Не огорчайтесь, дружище... Уж такой язычок у меня дьявольский. Вот что: приходите-ка послезавтра ко мне на вечерок. Выпьем, понимаете... День рождения у меня...

Бабкин вечером пошел к невесте.

«Надо ж, черт возьми, купить девочке хоть карAMEЛЕК»,— подумал он и зашел в еврейскую лавку. Когда входил, заметил прошагавшего человека в белом фартуке и еще тетку. Тетка остановилась и посмотрела ему вслед.

— А, товарищ Бабкин!— приветливо встретил его длинношей, с остренькой бородкой и красными губами еврей.—

Ну, когда же ваша свадьба? Купили бы для Варвары Тихоновны часики... Хорошие у меня есть, серебряные, фирмы «Мозер»...

— Ей отец подарил золотые часы,— сказал Бабкин.

— Что вы говорите!.. Те часы темные. Я отлично знаю происхождение тех часов. Те часы, прямо скажу, краденые... Ой!..

— Каким образом?

— И очень просто. По секрету вам скажу: тут, у вас на станции, работает целая шайка. И представьте, носильщик Носков украдывает ящик с электрическими лампочками, то есть достался в порцию после дележа. И очень хорошо... И он идет и обменивает этот ящик на золотые часы у агента постройки. Так говорят. Я, конечно, не могу поручаться за то, что говорят. Не всякой вере давай слух, как говорится по-русски... Этот самый Носков золотые часы продал вашему будущему папаше, даже забрал у него вином и самогонкой.

Бабкин растерянно хлопал глазами и весь покраснел от раздражения. Черт знает, хоть от невесты отказывайся! Он ничего у еврея не купил и в самом мрачном настроении направился к тестю.

Был летний мглисто-серый вечер. В лужах квакали лягушки, поздние стрижки острокрыло чертили последний быстрый путь. Посреди улицы, рассуждая сам с собой, деловито шагал человек в белом фартуке. Тетка с замотанной шалью головой шла мужиковской походкой по пятам Бабкина.

— Тебе что надо, тетушка?— спросил он, остановившись у ворот тестя.

— Ох, кормилец,— загнусила тетка.— Зубами маюсь, хотела какого-нибудь снадобья у торгового купить...

— Нет у него,— всматриваясь в теткино лицо, сказал Бабкин.— Иди в приемный покой на станцию. Там фельдшер даст.

Варя встретила его радостно, но вскоре же сказала:

— Какне вы, право, неласковые, Володичка. Что это с вами приключилось?

— Так,— ответил Бабкин.— Очень уж много подлости на свете, Варя. Ну да бросим об этом говорить. К Алексею Кузьмичу-то на танцульку собираетесь?

Пузиков не застал своего помощника Алехина в избе. Разжег на шестке теплинку и вскипятил чай. После третьего стакана вошла в избу тетка, та самая...

— Садись чай пить,— сказал Пузиков.— Где был?

— Бабкина следил,— проговорил Алехин, снимая сарафан.

— Тьфу!— плюнул Пузиков.— Экая башка у тебя свинья. Что ж мы — двое за одним человеком ходим?

— Как так?

— А вот так... Мужика-то в белом фартуке заприметил? Ну, дак это я...

Алехин недовольно почесал за ухом, сказал:

— Бабкин у тестя, должно, и ночевать остался... Я ждал, жрать ужаси как захотелось...

— Ничего подобного. Он задним ходом вышел.

Ложась спать, Пузиков сказал:

— Слушай, Алехин. Я вынюхал, что послезавтра будет вечеринка у помощника начальника станции... Как его фамилия-то?

— Я знаю: Бревнов, звать Алексей Кузьмич,— с гордостью отпартовал Алехин.

— На этот раз молодчага. Дак вот. Нам с тобой надо на эту вечеринку попасть. Может, там самую главную птицу схватим. Понял? Ты прямо войдешь и скажешь на ухо хозяину, что ты агент угрозы, что хочешь, мол, остаться на вечере под видом, ну, хоть... черт его знает... ну, хоть десятника по земляным работам. Понял? А я потом приду. А завтра подговори носильщика Носкова, передай ему вот эту бутылку коньяку,— он здорово вино жрет,— пусть выпьет и по сигналу явится на вечер и скажет вот какие слова... запиши. И адрес его запиши. Записал? Чтоб в точности. Он тоже замешан.

Чуть свет Пузиков исчез.

Алексей Кузьмич Бревнов жил широко, и вечер устроен на славу. Стол ломился закусками, пирогами, выпивкой. Среди гостей лица почетные: инженер-механик Свистунский, начальник станции Петров с супругой, священник. Конечно, был Бабкин с невестой Варечкой и будущим тестем.

Бабкин сегодня весел, прикладывался к рюмочке, играл на гитаре и рассыпался Варе в любезностях.

Хозяин, Алексей Кузьмич, снял пуговицами на новенькой тужурке и тоже приухлестывал за Варей. Бабкин возбуждал в нем изрядное чувство ревности. Хозяин старался ему дерзить, но Бабкин отгрызался.

— Это из рук вон,— говорил раскатистым басом инженер Свистунский,— сегодня опять обнаружена кража из вагона с грузом мяса.

— Слышали, слышали,— подхватил кто-то.

— И что стража смотрит, ведь под самым носом вагон стоял. Отсюда из окна видать... Позор!

— Увы! Испортился народ наособицу,— воскликнул священник и откромсал добрый кусок пирога.

— Черт знает, Иван Пузиков не едет. А пообещал,— уныло промямлил Мерзляков, потянувшись к выпивке.

— Плюньте вы на этого Пузикова!— крикнул охмелевший Бабкин.— Черта ли понимает ваш Пузиков! Сами разберем... Мы уже опять ночью под вагон залезем. Товарищ Мерзляков, возьмите меня в свою компанию!

Все захохотали. А дорожный мастер Ватрушкин потер подбитый Мерзляковым нос.

В это время вошел молодой парень. Он что-то пошептал хозяину, тот деланно улыбнулся и сказал гостям:

— Это вновь командированный десятник земляных работ. Присаживайтесь с нами, товарищ.

Алехин смиренно сел в угол, закурил папиросу и стал наблюдать, нахмурив лоб. Ему подали стакан чаю и кусок пирога.

Бабкин задирчиво кричал:

— Видали мы Пузиковых!! К черту их!

— Потихе,— осадил его хозяин, взглянув на Алехина.— В противном случае попрошу вас удалиться.

— И что ты ко мне вяжешься,— охмелевшим языком сказал Бабкин.— Может, к Варечке ревнуешь? А?

— Прошу меня не тыкать. Невежа! Без году неделя служит, а тоже позволяет себе...

— Ах, вот как... Что?!

Но в это время Алехин, взглянув на часы, распахнул окно. Из окна темнела ночь. По лестнице загрохотали грузные шаги, и в комнату ввалился пьяный носильщик Носков. Покачиваясь, он взглянул на подмигнувшего ему Алехина, помахал картузом и, глупо ухмыляясь, сказал:

— Честь имею поздравить с днем рождения!.. Честь имею объявить, что Иван Пузиков сейчас будут здесь. Хи-хи-хи... До свиданья,— он было повернул к выходу, но Алехин загородил ему дорогу:

— Товарищ Носков, сядьте и — ни с места!

Гости разинули рты. Хозяин ерошил волосы, пьяный Бабкин лез к нему:

— Плевать я хотел на этих дураков, на сыщиков!.. Нет, ты мне ответь... Ревнуешь? Может, Варечку поддеюлить хочешь? Бери! Бери!

— Убирайтесь к черту!

— Бери! Я отказываюсь. Сам отказываюсь... Чьи на ней часы? Краденые... Вот этот самый Носков, носильщик, восемнадцатого марта ящик с лампочками упер из вагона да агенту постройки на часы выменял, а часы будущему папаше всучил... Пожалуйста, сиди, Носков, не корчи рожи!.. И вы, папаша, не огорчайтесь.

— Безобразие!— кто-то кричал.— Ишь нализался... Выведите его вон!

— Кого? За что?— взвыл Бабкин.— Меня-то, Бабкина-то? Что он правду-то говорит? А чьи сапоги-то на мне? Краденые, вот и клеймо казенное... Из вагона... Мне подарил их мой будущий папаша. Уж извини, папаша. Раз начистоту, так начистоту... Вот Пузиков придет, все ему открою... Я много кой-чего знаю. Где Пузиков?

Алехин заглядывал в окно, в ночь. Пузиков не появлялся. Гости были как в параличе. Варечка истерически повизгивала. Ее отец весь побагровел и, сжимая кулаки, надвигался на Бабкина. С Носкова сразу соскочил хмель. Бабкин колотил себя в грудь и, кривя рот, кричал сквозь слезы:

— Я за правду умру, сукины дети!.. Да! Умру!!

И вдруг трезвым, спокойным голосом:

— Ваше благородие, а где же пуговка-то у вас?

Алексей Кузьмич Бревнов, хозяин, быстро провел рукой по пуговицам, быстро скосил вниз глаза: блестящей пуговицы на тужурке не доставало.

— Вот она,— сказал Бабкин, протягивая пуговицу.— Я ее вчера в вагоне нашел, в том самом, откуда вы вот эту телятину украли.

Хозяин залился краской, побледнел, выхватил из рук Бабкина пуговицу и швырнул на пол.

— Стервец!— крикнул он и весь затрясся от злобы.

Бабкин поднял пуговицу, посмотрел на нее.

— Да, ошибся... Извиняюсь...— промямлил он.— Действительно, не та: топор и якорь на ней есть, а сукно серое, видите, кусочек болтается. У вас же сукно черное... Извиняюсь.

— Милицию сюда! Протокол!— колотил хозяин в стол кулаком.

— Стой!— крикнул Бабкин.— Милицию я и сам приглашу. Стой! Забыл совсем. Идемте в вагон... Эй, где Пузиков? Идемте в вагон. Иначе все под суд за укрывательство. Отвечаю головой... Мы и без Пузикова обнаружим.

Обрадованные скандальчиком гости повалили за Бабкиным.

При свете фонаря в вагоне на туше мяса лежала блестящая пуговица с клочком сукна, а вместо черноусого пьяного Бабкина, но в его одежде, пред ошалевшей и перепуганной компанией стоял бритый, совершенно трезвый, широколобый человек со строгими глазами и ртом.

— Конторщик Бабкин, которого вы три недели тому назад взяли на испытание, это я самый и есть, Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. Алехин, подай-ка пуговку сюда!

— Он твердо подошел к Бревнову, примерил пуговку и твердо сказал:

— Ты, Бревнов, арестован. За компанию с тобой — Носков и торговец Решетников. А там распутаем весь клубок. Ну, Алехин, понял ли хоть теперь-то всю мою музыку? Эх ты, ежова голова. Покличь милицию!

Алехин, казалось, был ошарашен больше всех. Он сунулся из вагона и засвистал в свисток с горошинкой, как Соловей-разбойник.

ПОРТРЕТ

Было дело в голодный год. А сам я — мастер по церковному цеху, святых рисовал, то есть живописец. Как ударил голод, тут уж некогда угодников мазать, да и негде: даже попы нуждаться стали.

И вот пришла мне в голову идея:

— А поезжай-ка ты, Семушкин, по деревням, — внушаю сам себе, — будешь с богатых мужиков морды малевать.

В четырех селах ни хрена не вышло, в пятом — клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш, страсть богатый, черт.

— Ладно, — говорит, — рисуй по очереди всех: меня, Матрену, Акульку, Мишку. Потому — по-благородному желаю жить: чтобы все на стенах висели, форменно, да.

Стали торговаться. Я по пуду муки за портрет прошу и по три десятка яиц. Он говорит: пиши за харч, жрать будешь — и довольно.

— Это грабеж, — говорю ему, — вы, гражданин, искусство не цените. Вы, гражданин, не знаете, что знаменитый художник Репин по три тысячи золотом за портрет берет.

— Начхать мне на твоего Репина! Он — Репин, а я — Огурцов. А не хошь, как хошь. Забирай струмент и — дальше.

И стал я его, сукина сына, писать. Жарища стояла адова, то есть такая жара — шесть собак на деревне очумело.

Я посадил его, подлеца, у ворот, на самый солнцепек, и велел волчью шубу с шапкой надеть.

— Пошто! Рисуй в красной рубахе, при часах.

— Нет!— говорю,— в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся. Даже Никола-зимний на иконе и тот в рукавицах.

Он сидит, пот градом с него, а я, конечно, в холодок устроился. Разглядываю его, а он пыхтит: тучный, дьявол, жирный.

— Что же ты, живописец, не малюешь?

— Я физиономию вашу изучаю, очень величественная у вас физиономия, как у воеводы.

Он бороду огладил, приосанился. Я ему:

— Нет, Митрий Титыч, шевелиться нельзя.

— Ну?! Неужто нельзя?.. А меня клоп кусает.

— И разговаривать нельзя. И мигать нельзя: кривой будете, вроде уroda. Замрите, начинаю,— и стал подмалевывать.

А в это время муха ему на нос и уселась. Он глаза перекосил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну прямо живьем сожрал бы ее, а нельзя.

Я говорю:

— Пожалуйста, не обращайтесь на нее внимания: поползает, поползает да улетит. А то портрет испортите, снова придется.

Гляжу — он губы скривил чуть-чуть и подувает на муху с левого угла. А муха оказалась нежной, не любит ветерок, взяла да поползла на правый глаз. Мужик моргнул да лапшей как хлопнет. Муха и душу богу отдала.

— Ну вот,— сказал я,— портрет испорчен. Снова.

— Господин живописец,— взмолился он,— нельзя ли в холодок? Шибко жарко, сомлел я весь, и глазам очень трудно на солнышко глядеть.

— Нет, нет,— сказал я,— замрите окончательно.

Часика через три я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил.

— Мишка, подбирай!— и, не стыдясь баб, оголился да ну, как тюлень, нырять, ныряет да гогочет.

Как пришел он в чувство, за обед сели. Я ем да думаю: «Я те, анафеме, покажу, как сквалыжничать, ты у меня взвоешь».

— А много ли возьмешь, живописец, ежели без шапки?— спросил Огурцов.

— Два пуда, меньше не возьму. Снова писать придется.

— Да ведь ты пуд просил?

— Меньше двух пудов не могу. В шапке ежели — пуд. Не желаете, тогда до свиданья. Я художник самый знаменитый. Меня даже в Москве каждая собака знает.

— Патрет мне шибко нравится,— сказал Огурцов.— А я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты знаменитый. Так и быть, рисуй просто-волосым, без шапки.

После обеда хозяин выпил одиннадцать стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел.

— Идем, что ли, черт тебя задави совсем. Только ты не сердчай на меня, голубок...

Жара была еще сильнее. Хозяин шел к стулу, как к виселице. Я разрешил ему говорить за десяток яиц. Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него: шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный.

— Вот до чего упарился... Аж в сапогах жмыхает.

— Ничего,— говорю,— терпите.

— Да долго ли терпеть-то?.. Аж пар из-за голенища валит... Аж дышать тяжело... фу-у-у...

Через час у него кровь из носа пошла. Через два часа он вдруг побелел, простонал:

— Кваску ба...— и упал.

Я только написал одну голову. Сходство поразительное, даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит:

— Дюже правильно личность обозначил. Приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы? А то жарко очень...

— Дорого,— говорю,— пять пудов.

Он ошетинился весь, хотел ударить меня по уху, однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал:

— Рисуй, сволочь!

Я потребовал плату вперед, посадил брюхана в холодок — в красной рубахе он, при часах, с медалью — и стал со всем старанием писать.

Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака два месяца. Мучицы заработал и деньжат.

На прощанье кулак сказал:

— А ты все-таки — жулик... Ловко нагрел меня.

Я ответил:

— Другой раз не жадничайте... Вы — человек богатый.

Дома же обнаружил я, что он, проклятая сквалыга, в муку порядочно-таки песку подсыпал.

БАБКА

Солнце хватало горячими клещами без разбору всех и все: красных и белых, валявшуюся вверх копытами мертвую кобылу с развороченным боком, старух и мальчишат, пушки, патронные гильзы по дорогам, траву, букашек. Коровы с телятами стояли по горло в воде, лениво взмыкивая.

Нагретый воздух трепетал и колыхался, словно боясь ожечься о грудь земли, и вместе с ним колыхалось на зеленом пригорке село Ивашкино.

Разведка знала, что село до оврага занято красными, за оврагом же, там, где церковь,— белыми из армии Юденича. Политрук отряда, рабочий-путиловец Телегин, и два его товарища входили в село без страха: белые и красные в открытый бой пока не вступали, та и другая сторона ожидала подкреплений.

— Эх, пожрать бы чего-нибудь... Молочка бы с погреба,— изнемогая от жары, пересохшим голосом сказал Телегин. Пот грязными ручейками стекал по красному лицу в густую бороду, кожаная куртка его раскалилась, как железная печь, и ноги в сапогах — как в кипятке.

— Айда в избушку,— махнул рукой Петров, приземистый рыжеусый молодец.— Только, черти, пожалуй, не дадут: белые их поди распропагандировали.

— Даду-у-ут,— устало улыбнулся всем лицом и бородою товарищ Телегин.

— У них, у дьяволов, снегу зимой не выпросишь,— сухо сплюнув, проговорил Степка Галочкин, курносый парень.

— Да-а-дут,— опять улыбнулся Телегин.— Ежели умеючи, у мужика все выпросить можно. Вы, ребята, на меня поглядывайте: что я буду делать, то и вы.

В кожаных новых картузах и куртках, в новых сапогах, одетые так же чисто, как и белые, трое коммунистов вошли в избу. Пахло хлебами, жужжали мухи. У печки, с ухватом, старуха в сарафане и повойнике.

Телегин снял картуз, подмигнул товарищам, истово, по-мужиковски перегибаясь назад, усердно закрестился на иконы. А за ним и те двое.

— Здорово, хозяйюшка!— весело крикнул Телегин.— А нет ли у тебя чего покушать?

— Ох, кормильцы наши, ох, батюшки!— засуетилась у печки бабка.— Садитесь, ягодки мои, спаси вас бог, садитесь... Ужо я хлебца свеженького выну, ужо молочка...

Бабка принесла две крынки студеного молока, вытащила из печи хлеб, похлопала его — кажись, готов — и накромсала гору:

— Кушайте, роденькие мои, голубчики... Уж не взыщите. Кушайте во славу, не прогневайтесь...

Голос у нее ласковый, глаза ласковые, с подслеповатым старческим прищуром, морщинистые губы в рубчиках — ввалились. Она держала ухват, как посох, и умильно посматривала от печи на гостей. Кривой котенок сидел среди избы и умывал лапой гноящийся свой глаз.

Кожаные куртки с наслаждением глотали молоко, прикрывая.

— А где же те-то, окаянные-то?— спросила бабка скрипуче, со слезой.— Вы смотрите, детушки, с опаской... Они, раздуй их горой, в нашем краю вчераь рыскали...

— Кто, хозяйюшка?

— Да красные-то эти самые, чтоб им!..— крикнула бабка, беззубо зажевав.

Кожаные куртки молча переглянулись, а Степка Галочкин прыснул молоком, как из лейки. Телегин улыбнулся в бороду, спросил:

— А ты, хозяйюшка, неужто красным ничего бы не дала?

— Красным?— подпрыгнула старуха.— Гори они огнем!— и стукнула в пол ухватом.— И хлеб-то весь в подпол побросала бы да карасином облила, и крынки-то с молоком об башки бы им расколотила... Тьфу!

Петров подавился хлебом и закашлялся, а голоусик Галочкин надул щеки и опять прыснул смехом в горсть.

— Ужо я вам, ангелы мои, сметанки... ужо, ужо...

— За что же ты, бабушка, ненавидишь красных героев?— тenorисто спросил Петров.

— Тьфу!— плюнула, старуха и сухим кулачком утерла дряблый рот.— Да как же их любить-то, ангелы мои господни... Эвот вчераь нашего Гараську они, ироды, вытащили из колодца да уволокли с собой... Гараська у нас, парень... Ну, знамо, биллизацию он не принимает, воевать не любит, залез в колодец, вроде как схоронился там... Ох и ревел Гараська, аж слезами весь изошел...

Бабка покарабкалась на полку за сметаной и, подпираясь ухватом, сутуло поплелась к столу.

— Ты, хозяйюшка, видимо, принимаешь нас за белых, может, за офицеров?— рыгнув, спросил Телегин.— А ведь мы не белые...

— А кто же вы?— влипла в пол старуха, и ухват в ее руке закачался.— Не красные же вы, раз богу помолились...

— Нет, не красные...

— А кто же?— глаза старухи прищурились, и ухват вопросительно застыл.

— Мы черные...

— Чево-о-о?— попятилась старуха.

— Черные...

— Это какие же такие еще черные?— И голова старухи сердито затряслась.— Кого же вы, ребята, бьете-то?

— Кого придется,— сдерживая улыбку, сказал Телегин.— Белые попадут — белых, красные — красных.

Бабка взмотнула локтями, и глаза ее запрыгали; она повернула от стола назад и через плечо бросила:

— Черти вы!.. Вот черти... Что надумали, а? Черные какие-то, а?! Направо-налево кровь льют, а?! Нате вам сметанки, на-те,— издевательски улыбаясь, рывком совала она к столу крынку со сметаной и отдергивала назад.— На-те, окаянные... На-те...— Глаза ее горели яростью.— Ишь ты, черные, ни дна б вам, ни покрышки, подлецам... Замест сметаны-то в три шеи вас, дураков паршивых... Мы че-о-рные... Тьфу!..— И старуха, ударив в пол ухватом, зашоркала к печке.— Нет, ребята, это не по-божецки... Уж вы, ребята, одной стороны держитесь: либо белой, либо красной...— Голос ее стал мягче, и глаза глядели на пришельцев жалостливо.— Эх, ребята, ребята!.. Дуть вас надо, дураков...

— Хозяюшка,— сказал Телегин,— мы хотим дальше идти, а ты разреши нам оставить у тебя кой-какие вещишки...

Но в этот миг открылась дверь, быстрым шагом вошел красноармеец и спросил:

— Палатки-то вносить, товарищ Телегин?

Слово «товарищ» ошарашило старуху как бревном: она вдруг стала маленькой, как девчонка, ухват дрябло заляскал в пол, и сарафан сзади гулко встряхнулся.

— Ой, ребята,— безголосо прошипела она и шлепнулась на лавку.— Ой, ребяташки, товарищи... Дак кто же вы?

Степка Галочкин — ноздри вверх и захохотал в потолок горошком, а Телегин серьезно:

— Красные, хозяйюшка, красные...

Старуха разинула рот, несколько мгновений лупоглазо смотрела в лица красноармейцев и вдруг сорвалась с места.

— Ребяташки, голубчики, товарищи наши!— заорала она осипшим басом как сумасшедшая.— Бейте их, окаянных, белых этих самых!— грохнула она ухватом в пол.— Бейте их хорошень!.. Бейте!..— Бабка злобно поддела котенка ногой и едва устояла.— Они, подлецы, родного старика

моего в баню заперли хозяина... Вавилой звать... Пошел он вчерась к дочке, — дочка у нас в том конце замуж выдана. А его там и замели — ты, мол, красный, — да в баню на старости лет... Вот они, собаки, ваши белые-то, что делают... Давите их, подлецов, пожалуйста!!

Бабка — как ведьма: космы растрепались, повойник на затылок сполз, из беззубого рта летели слюни.

Красноармейцы хохотали. Галочкин уткнулся лбом в столешницу, крутил головой и залиvisto визжал; подброшенный котенок лез с перепугу в валеный сапог; темным облаком под потолком шумели мухи.

РАЗВОД

Существовали на сей земле супруг с супругой, Иван да Марья Природовы, ткач и ткачиха. Десяток лет жили дружно; правда, случались малые скандальчики, но это уж обычно, это исстари идет, по всем законам: все в природе зуб за зуб, клык за клык, даже волки лютые грызутся, почему же людям в мире жить, раз они от обезьяны?

Только однажды, совсем недавно, случился грех, и в совершенно трезвом виде. Грех, к огорчению, кончился разводом.

Грех не сразу выпер в их жизни, он, как клубок, накручивался исподволь: сегодня нитка, завтра бечевка, послезавтра — аркан. И стиснул аркан их души.

Разрыв случился из-за двух вер. Одна вера в бога, другая в красном платочке, просто Вера, ткачиха тож. Марья по природной женской слабости была религиозна, Иван же вольнодумец. Марья на сходке, когда церковь постановили обратить в театр, полезла в драку; Иван, в отместку ей и согласно идеологии, снял дома все иконы, проворчав:

— Да ты Вере-то в подметки не годишься, ежели критически... И как я с тобой, с чертом, жил...

— Тьфу! — плюнула жена.

Остальное все понятно.

После развода они вошли в комнату как чужие. Муж принес колбаски фунт. Она — баранок и селедку. Пожевали молча, всяк в своем углу. Иван поискал нож, не нашел, а спросить — самолюбие не позволяет. Отгрыз колбасу, подумал: «Вот и свободный я. Куда захочу, туда и пойду», — и с остервенением опять отгрыз. Марья озабоченно уписывала селедку, запивала чаем.

«Хорошо бы и мне чайку,— подумал Иван.— Не даст, пожалуй. Обозлившись».

Он почему-то на цыпочках подошел к водопроводу, напился и, как бы устыдившись малодушия, беспечно замурлыкал:

Выхо-о-жу один я на доро-о-огу-у...

Марья зевнула, взглянула на стенные часы — десять — и стала оправлять кровать.

— Отвернись!— крикнула она Ивану, как нищему, который назойливо выпрашивает денег.— Теперича ты мне — тьфу. Я раздеваться стану. Можешь глаза пялить на Верку на свою.

Иван отвернулся. Марья разделась, перекрестила подушку и легла.

— Можно, что ли, оборачиваться?— спросил Иван. Но ответа не получил.

Где же лечь? Дивана нет. На стульях разве?

«Э, черт... лягу на полу».

Марья спала крепко, Иван тревожно. Утром опять пришлось Ивану отвернуться.

На работе Иван да Марья спрашивали у товарищей, нет ли, мол, на примете у кого хоть какой-нибудь комнатушки? Куда тут... Нет.

— Это раньше бывало: комнат — сколько хошь... А подика разведись... наплачешься...

Подходила вторая ночь.

— Теперича моя очередь на кровати... Кровать не твоя, а общая,— сказал Иван.

— Отвернись,— сказала Марья, разделась и легла на пол. Иван спал крепко, Марья тревожно: все вертелась на полу — жестко.

Пришла третья ночь. Иван читал газету. Марья достала новую рубашку в кружевах, нарочито перед самым носом Ивана разложила ее на столе и стала продевать в проемы розовые ленточки. Иван покосился на рубашку, крикнул и никак не мог перелезть на другую строчку: голова вдруг отказалась понимать прочитанное, в голове замелькала женская рубашка, тело — бывшей жены или ткачихи Веры — все равно.

— Отвернись, передену рубашку,— сказала Марья.

Ивану показалось, что голос Марьи прозвучал не так, как раньше. Иван отвернулся к зеркалу и протер глаза. В небольшом квадрате зеркала отражалась часть кровати. Марья отпахнула одеяло, и рубашка скользнула с ее плеч. Сердце Ивана стукнуло, остановилось и — раз-раз-раз —

пошло работать без узды. Чтоб не смотреть на отражение крепкого женского тела, Иван, согласно идеологии, зажмурился, но тотчас же открыл глаза.

Ложась на пол, он думал:

«Придется постельник сделать. Черт его знает, этот развод. Ничего не предусмотрено».

На пятую ночь, когда Ивану опять пришла очередь спать на полу, Иван сказал:

— Слушай. Без постельника невысказанно на полу валяться. Если, так сказать, вдуматься категорично, мы можем, как тот, так и другой, спать вместе на кровати, ведя себя соответственно.

Марья подумала и сказала сердито:

— Ложись! Только чтоб спина к спине.

— Обязательно! — воскликнул Иван. — Соответственно...

И тому подобное.

Ах, как приятно! В комнате восемь градусов, а до чего тепло спине. А все-таки надо идеологии держаться.

— Пожалуйста, не шевелись, — сказала Марья, засыпая.

— Я не шевелюсь... Я так, от нечего делать... Приятно очень.

Днем, в воскресенье, у них был такой разговор.

— Когда же ты уберешься от меня, постылый? — сказала Марья.

— А куда же мне, ежели кругом такое уплотнение?

— К Верке к своей, вот куда!

Иван взглянул в глаза Марье: бешеные бесенята, огоньки.

— Она сама при муже, — угрюмо сказал он. — Мы с ней, ты думаешь, как? Мы с ней просто по-хорошему.

— По-хорошему? — закричала Марья. — А пошто мял-то ее на танцуйке. В коридоре-то?

— Мял-мял... Эка беда какая... Да ведь как вас, баб, не мять. Ежели вы такие... Ну, это самое... Всякий комбинат. Поневоле будешь мять...

— Поневоле? — еще звонче крикнула она. И сразу тихо, сквозь сдержанные вздохи: — А впрочем, сказать... Чего-это я, дура... Теперича мне тьфу на тебя. Чужой ты мне, вот все равно как это полено. Мни кого хошь, тешься.

— А ты?

Марья заморгала и быстро в сенцы.

Легли опять спать спина к спине. Ивана подмывало повернуться. Марья, будто угадав, сказала сквозь зубы:

— Ты не вздумай облапить меня. Я тебе не девка гулящая.

— Ну, вот еще... Что я, маленький, что ли?

— Да ведь вы... О, чтоб вам сдохнуть!..

Иван огорченно улыбнулся тьме. И чтоб укротить себя, пытался направить мысли иным путем:

«Двенадцатый разряд... По какому праву? Да он, этот самый Лукин, без году неделю и служит-то... Неужто за то, что языком трепать умеет? А мне едва одиннадцатый дали... Обида или нет? Да, да... О-о-о-обида,— засыпая, думал Иван.— Чего? А хорошо бы поэтому... как его... ну вот этому в морду дать. А-а-а, Лукин, вот, он-он... Держи его... двенадцатый разряд... А? Разряд? Хватай, бей!»

Иван занес руку, чтоб сгрести обидчика в охапку, и почувствовал, что его рука прикоснулась к чему-то мягкому, как крутое тесто. И вслед за этим обидчик крепко дернул его за бороду, крикнув:

— Пожалуйста, без объятий своих! Отъезжай на пол... Ежели руки распространяешь.

Иван очнулся и сказал:

— Извиняюсь... Затмение... Комбинат.

И вновь спины вместе, дружба врозь. Лежит Иван, хлопает во тьме глазами, не может разобрать — хнычет Марья или хихикает над ним. Лежали долго.

— Иван!— позвала Марья.

Иван притворился спящим и легонько захрапел.

— Ох, какая канитель мне с ним,— вздохнула Марья и, повернувшись к мужу грудью, опять тихонько позвала:— Иван!

Иван храпел. Тогда Марья слегка прикоснулась губами к Ивановой спине и чмокнула, сказав:— Ах, душка мой... Василь Василич...

— Извиняюсь!.. В чем дело?— быстро повернулся к ней Иван.— Какой это Василь Василич у тебя имеется?

— А тебе какое дело?— сказала Марья и повернулась к нему спиной.

— Мое дело, конечно, маленькое,— сказал Иван.— Эх, Маша, Маша!..

— Ты с Верками да бознат с кем путался, а мне зевать? Плевала бы я...

— Вовсе я даже ни с кем не путался... Как честный человек говорю... Ха! Променял бы я тебя на Верку. Даже смешно.

— А что? Скажешь, меня любил?

— Неужели нет? Эх, Маша...— Он горестно взмотнул головой, и кончик его носа зарылся в густую косу Марьи.

Марья быстро повернулась к нему грудью, крикнула:

— Ах ты, дурак паршивый, притворщик. Ишь ты, прикинулся, храпел, как конь... Сроду не знавала никого опричь тебя. А ты и уши распустил. Я просто испытать... Ха! Василь Василич какой-то, провались он.

— Маша! Изюминка!

— Ваня!

А перед утром Иван сказал:

— Просто непонятное бывает на свете. Ведь вот жили мы с тобой, скажем, десяток лет, и ничего такого... все как-то... Даже наскучили друг дружке. А тут, черт его знает то есть, как развелись, с того самого момента я прямо втюрился в тебя, как самый безнадежный влюбленный буржуй. То есть черт его. И с каждым моментом гораздо пропорциональнее... Ну, хоть на стену полезай или топись... Вот что значит психология... Развод придется онулировать... Ах, необдуманый комбинат какой... Идеологически паршиво вышло.

Марья вздохнула и сказала:

— А хорошо бы нам ребеночка.

— Не плохо бы,— сказал Иван.— А что касемо религиозной почвы, то ее как-нибудь урегулируем. И вдобавок, Маша, надо пружинный матрас купить.

«НАСТЮХА»

Приказано было в нашей деревне Крайней женотдел обрывать. Ну ясно, оборудовали. Председательша — Фекла Пахомова — чернушная, как цыганка с табора. И страсть какая злобная — перцем не корми. То есть так взъершила баб против мужиков, не надо лучше: поедом стали бабы мужнишек есть: «Ах вы, пьяницы! Ах вы, окаянные! Да мы вас, да вы нас...» Даже ежели, скажем, желательно допустить над собственной женой что-нибудь особенное, ну, вот это самое, дак и то она — пошел, говорит, к черту, думаешь, говорит, легко в тягостях-то нашей сестре ходить... А чуть вразумлять начнешь, она неровит ухватом по морде смазать да с ревом в женотдел: «Караул, караул, убил!» А какое, к свиньям, убил, ежели сам стоишь у рукомоиника, нос замываешь, а из носу невинная, конечно, кровь...

Других мужиков председательша Фекла Пахомова, чтоб ей в неглыбком месте утонуть, в суд потянула,— дескать — увечат жен. И что ж? Разве наши суды — суды?

Жены пришли на суд краснорожие, у мужьев под глазами фонари понатырканы, даже один хромает. И, невзирая на подобные приметы, мужиков присудили к штрафу да к отсидке.

— Разобьют рыло, а скажут: так и было, — ругали женщин мужики.

Один прибег домой — лица нет, аж зубами скрипит, а бабу колошатить воспрещено. Дак он что... Он от горькой злобы собственную собаку удавил, сгреб за шиворот и сразу в петлю.

— На, — говорит, — тебе, сучья тварь, на! Повиси заместь моей стервы — Машки... У-ух! — и заплакал. Сидит в хлеве, на навозе, сморкается на все стороны, плачет. Мужики очень смирные у нас, а бабы — бой.

Этот ужасный террор проистекал до осени. Феклу Паховому вытребовали в город служить, то есть к повышению. Она бобылка грамотная, собралась, уехала. Бабыя часть провожала ее с воем.

Мужики сказали на сходе:

— Ну, длиннохвостые, кончилась вам масленица. Кого хотите в председательши? Становь кандидатуру, черт вас ешь!

Та не хочет, эта не желает, третья — боится. Так никого и не избрали. А из волости приказ — избрать. Судили мы, рядили, дай, думаем, выберем в председательши мужчину.

Сельсовет, мельник наш, сказал:

— Что же, братцы, деревня наша Крайняя, на самом краю, дальше болото на сто верст, к нам никто дорого не возьмет и заглянуть-то из порядочных. Давайте, братцы, выберем Настасея. Имя у него вроде бабье, и фамиль — сам поп не разберет — Сковорода. Баба тоже может сковородой быть за всяко просто.

Тогда начал говорить сам Настасей:

— Я ничего, братцы, согласен, как говорится. И имя... тово... действительно, чтобы... Даже маленького меня и звали-то «Настюхой». Только братцы, как бы какого худа не было... Кроме всего прочего, конечно, да.

— Хы! Худа. Эка штука гумагу раз в месяц подмахнуть. Пиши фамиль само неразборчиво, чтоб гаже нет.

— Да мне разборчиво-то и не... А только... этого, как его... чтобы... Сумленье у меня, да. Вдруг нагрянут. А человек у робкий. Я такой человек, уроши возле меня, скажем, ложку, я так и подскочу до потолка. Человек я припадочный...

— А ты не скачи... Ты что, блоха, что ли?.. Соглашайся знай. А мы тебе... Ребята, соберем Настасею пудишек

пяток муки в честь уважения. И четвертуху самогону первый сорт. Идет?

Стал с тех пор Настасей Сковорода председательшей женотдела.

И стало мужикам вольготно, бабам худо.

А тут... Ну, так даже и не выдумать. Вдруг — фьють! — здравствуйте, — прикатил мимоездом какой-то заведующий член из города, и прямо к председателю сельсовета, мельнику Вавиле Четвергову. То да се, спросы да расспросы, ну как, дескать, дела, почему нет избы-читальни, почему нет комсомола, работает ли женотдел?

— Сделайте милость, ваша честь, чайку испить, — краской залился Вавила. — Женотдел у нас справный. Председательшей женщину мы избрали. Настасья Сковорода фамиль. Бабочка толковая. Ведет линию парциально, согласуемо...

— Нельзя ли с ней переговорить?

— Даже невозможно! Они, кажись, больные, — похолодел Вавила. — Они, кажись, ребенка родили. Быдто мертвенький... царство ему небесное.

— Тогда я навещу. Где она?

У Вавилы сразу осел живот, и тугой поясок ослаб.

— Что вы, товарищ, господин, как вас... с непривыку... Она в отдаленности живет, на хуторе, в лесочке... Быдто, сказывают, волки бешеные там рыщут, волчица да волк, пара. Согласуемо... Спаси господь...

Прнезжий прищурился по-хитрому из-под очков в лицо Вавилы.

— А все-таки мне надо с ней переговорить.

— Тогда вот какое дело, товарищ хороший, как вас... с непривыку... имя-отчество. Вы после чайку прилягте отдохнуть. Столько верст проехамши, болотина да буераки. А вечерком я доставлю ее вам, на сон грядущий. Ведь вы заночуете? А куда же ваш путь принадлежит? Ах, в Павловское? Очень даже приятно нам, Павловское селенье подходящее. Народ — чистяк. Ах, какое село веселое... — повеселел наш пузан Вавила.

— Будь по-вашему, — сказал гость. — Только ко мне не пускайте пока никого: заниматься надо.

— Будьте вполне благонадежны, — вскричал Вавила. — То есть ни одна тварь не побеспокоит вашу честь.

— Карауль начальника,— сказал Вавила своей жене, а сам по деревне марш. Обежал все избы — хоть бы одна баба согласилась на полчаса председателю побыть. Ах, ерш те в бок. Вот так штука... Вавила к Настасею Сковороде и сразу заорал:

— Чтoб те сдохнуть, дурак паршивый! Пропадаем мы все. Член приехал! Требуется! Ах, ах... Придѣлился, дьявол бородатый, в бабью должность, вот теперича иди!

— Ой, убегу я... В лес уеду,— взмолил, замотался Настасей.

— Убегу... Дура! Он книги требует. Он баб скличет. Хуже будет!

Настасей хлюпнулся на лавку и по-сумасшедшему выпучил глаза.

— Стриги рыжую бороду свою проворней, черт ты, собаку, ешь!— крикнул мельник.— Бритва имеется? Ужо я писаря позову, он обкатает.

Через час Настасея перевернули на Настасью.

— Повойник мой на башку-то надень!— злобилась его баба.— А поверх-то... Ужо-ко я шаль повяжу.— И не знала баба, хотять иль плакать,— баба хотала.

— Форменно. Сойдет,— окончательно развеселился мельник.— Член, кажись, подслеповат. А голосишка у тебя, слава богу, бабий. Сойдет. Эх, жаль, член самогон не употребляет. Слышь-ка, тетка Дарья!.. Напхай ему кудели вот в этом месте... Так... Убавь! Прибавь! Так, в плепорцию. Вот мужика и в красотку перевернули, хе-хе... Даже замуж можешь в этом сарафане выходить за какого ни то расстригу. Идем проворней. Не подгадь. Личность веселей держи, с игрой!

Председательша Настасья по записной книге давала объяснения проезжему гостю. Заикалась, голосишко дрожал, вилял, руки тряслись. И смех и грех, вот те Христос.

— Да вы, гражданка, не волнуйтесь. Говорите спокойно. У вас, кажется, все в порядке,— сказал член и глазами заморгал.

— В порядке, ваша милость, как вас...— сиял мельник именинником.— Бабочка она хорошая, толковая.— Линию ведет парниково, согласуемо.

— Говорят, у вас несчастные роды были?

— Никак нет,— тонким голосом ответила Настасья и шаль натянула на глаза.— У нас... как его... все рожают, конечно, правильно, счастливо, да.

— Нет, нет. У вас лично,— поправил гость.

— Это, извините, я спутал,— выставил наш мельник бороду.— Та даже совсем другая женщина. Та действительно, черт ее знает, взяла да и... тово...

А гость — ну прямо как на грех — открыл на улицу окно, крикнул:

— Эй, тетушки! Шагайте обе в избу на пару слов.

Настасье показалось тут, будто юбка сама собой полезла вниз, будто из-под шали снова выставилась борода. В избу вошли тем временем две тетки под хмельком — после баньки хлопнули.

— Ну как, тетушки,— спросил гость и очками поблестел.— Председательшей женотдела довольны?

Настасья охнула от ужаса, сгреблась за край стола. Мельник боком-боком к теткам:

— Выручай, молодайки,— шепнул им и даже толстую маленечко по заду приласкал.

— Председательша наша дюже хорошая,— перемигнулись тетки,— усатая, бородатая, женатая... Хи-хи-хи... А, чтоб вас... Камедь!..

Побелела Настасья, рученьками всплеснула, зашаталась.

Мельник крикнул:

— Пошли вон!.. Пьяные ваши рожи!.. Они — полудурки, товарищ дорогой, тово... с максимцем... Вон!!

У теток враз раздулись ноздри, а спина дугой, как у кошек перед собакой.

— Ах ты брюхан!— заорали обе вдруг.— Нам тьфу, что ты сельсовет. А пошто же ты лишних по две копейки за помол берешь? Это порядки? Тьфу! Слушай, товарищ городской, мы тебе всю правду истинную... Он, нечистик, с чертом знается... Вот он какой сельсовет... тьфу! Он, паскуда, нам в женотдел мужика рыжебородого всучил. Дуняха! Веди-ка сюда Настасея Сковороду...

— Как? — ополоумел гость.— Вот ваша председательша.

— Тьфу!— плюнули обе тетки.— Наш Настасей бородатый... Это он, брюхан, любовницу свою привел... У него их...

Настасья вскрикнула, хлопнулась врястяжку, захрипела.

Обморок... Воды!— засуетился гость.— Кофту расстегните. Смочите грудь.

Тетки — к неизвестной бабе. Живо кофточку долой, вот так фунт — замест того-сего — ха-ха — кудея!

— Боже милосердный!— в страхе перекрестился мельник и попятился.— Кто же это? А?!

Тетки в хохот, в визг, понять не могут. Лежавшая вверх носом председательша шевельнула правой ручкой и чихнула.

А мельник плаксиво на колени перед гостем пал.

— Ваше скородие, как вас, с непривыку... Голубчик! Не губи... Действительно — мужик это... Только бритый... Враг попутал... То есть ах, боже... с перепугу все, согласуемо. Просто исповедимо как... Ах, ах, ущерб какой... Вставай, рыжий черт!!— сдернул мельник шаль с плешивой головы Настасея.— Ишь развалился, быдто дохлый гусь... Кланяйся!.. Проси прощенья!..

Гость — брови вверх — протирал вспотевшие очки и взмыкивал, потом стал неудержимо хохотать. Настасей по-маленьку приходил, слава богу, в чувство.

Через десять дней, приказом города, были перевыборы в сельсовет и женотдел.

СОДЕРЖАНИЕ

Холодный край	5
Краля	16
Чуйские были	35
Ванька Хлюст	53
Колдовской цветок	75
Сибирский дед	84
Та сторона	89
Золотая беда	111

ШУТЕЙНЫЕ РАССКАЗЫ

«На травку»	121
Экзамен	126
Смерть Тарелкина	133
Спектакль в селе Огрызове	141
Шерлок Холмс — Иван Пузиков	155
Портрет	175
Бабка	178
Развод	181
«Настюха»	185

Литературно-художественное издание

Вячеслав Яковлевич Шишков

РАССКАЗЫ

Редактор *Л Ю Минина*
Художественный редактор *Е А Агафонова*
Технический редактор *В В Буракова*
Корректор *В Н Григорьева*

ИБ № 2037

Сдано в набор 27.04.88 Подписано в печать 26.09.88 Формат 84×108¹/₃₂ Бумага типографская № 2 Гарнитура литературная Печать высокая. Усл. печ л 10,08 Усл кр-отт 10,08. Уч-изд л. 11,3 Тираж 100 000 экз Зак 636 Изд № 54
Цена 1 р 20 к.

Издательство «Карелия» 185610, Петрозаводск пл В И Ленина 1 Фотонабор выполнен в Республиканской ордена «Знак Почета» типографии им П. Ф. Анохина Государственного комитета Карельской АССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 185630 Петрозаводск, ул. «Правды», 4. Отпечатано в Сортавальской книжной типографии Государственного комитета Карельской АССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли 186750, Сортавала, ул Карельская, 42

Шишков В. Я.

Ш 55 Рассказы.— Петрозаводск: Карелия, 1988.—191 с.
(Сельская б-ка Нечерноземья).

ISBN 5—7545—0050—5

Вячеслав Яковлевич Шишков (1873—1945)— известный советский писатель, автор романов «Угрюм-река», «Емельян Пугачев». В книгу вошли избранные рассказы начального периода его творчества, когда писателем был создан своеобразный цикл произведений о дореволюционной Сибири, а также некоторые «шутейные» рассказы писателя (первая половина 20-х годов), в которых нашли отражение сложные социальные процессы, происходившие в стране в первые годы Советской власти.

Ш 4702010200—085
М127(03)—88 без объявл.

Р2



В. Шишков